

Зинзивер № 2 (140) 2024



2024
Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА, СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

**Издатель Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)**

Председатель Редакционного совета
Тамара Буковская

Главный редактор
Евгений Степанов

Заместитель главного редактора
Ольга Денисова (проза)

Заместитель главного редактора
Ольга Ефимова (поэзия, критика)

Редакция:
Максим Жуков (электронная версия)
Галина Илюхина
Сергей Киулин
Фёдор Мальцев
Валерий Мишин
Ирина Ракитина (верстка)

Адрес:
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводской проезд, д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)
Союз писателей XXI века, издательство «Вест-Консалтинг», редакция журнала «Зинзивер»
Степанову Евгению Викторовичу

E-mail: zinzivier@mail.ru

Сайт журнала
<https://www.zinziver.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Колонка главного редактора</i>	5
---	---

ПОЭТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Евгений КАМИНСКИЙ. Синь небес. Стихотворения	6
Виктория МАМОНОВА. Невидимые стежки. Стихотворения	17

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Андрей ИВОНИН. Но все же. Стихотворения	19
Евгений ЛЕСИН. Стихотворения	24

ПОЭЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Олеся УТКИНА. Меж панельных домов. Стихотворения	28
--	----

ПРОЗА

Александр МЕЛИХОВ. Инцидент. Рассказ	41
Марианна РЕЙБО. Раффи. Рассказ	50

МЕМУАРЫ

Евгений КУРДИН. На экскурсии в Москве	54
---	----

АФОРИЗМЫ

Юрий ТУБОЛЬЦЕВ. Миллиард не начинается с мелочи	59
---	----

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Евгений СТЕПАНОВ. Поэт, редактор, родная душа: Наталья Гранцева	70
Марианна РЕЙБО. Анастасия Харитонова: трагическое соло	74
Анастасия ХАРИТОНОВА. И русские стихи в моей тетради. Стихотворения	75

ШТУДИИ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. На грани мудрости и безумия: Грамматика коловращения в закабаленной России. (130 лет прощальной повести Н. С. Лескова)	85
--	----

ПАРОДИИ

Евгений МИНИН. Пародии на Санкт-Петербургских и др. поэтов	94
--	----

РЕЦЕНЗИИ

Леонид Подольский, «Финансист» (Ольга ЕФИМОВА)	
Евгений Курдин, «Сугубо личное» (Надежда ДРОЗД)	
Надежда Бабаева, «Сказки Надежды II» (Вера КИУЛИНА)	
Амир Сабиров, «Рай осиновый» (Дмитрий АРТИС).....	96

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

У нас некоторые изменения в редакции.

У меня появились новые заместители — Ольга Денисова (проза) и Ольга Ефимова (поэзия, критика). В редакции теперь работают: Максим Жуков (электронная версия), Галина Илюхина, Сергей Киулин, Фёдор Мальцев, Валерий Мишин, Ирина Ракитина (верстка). Председателем редакционного совета остается Тамара Буковская.

Готовимся к юбилею. В следующем году журналу «Зинзивер» должно исполниться двадцать лет.

Оставайтесь с нами!

**Издатель и главный редактор журнала «Зинзивер»
Евгений СТЕПАНОВ**

Поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Ленинграде. Автор одиннадцати поэтических книг и около двухсот публикаций, в том числе в журналах: «Дружба народов», «Звезда», «Урал», «Волга», «Юность», «Нева», «Аврора», «Октябрь», «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Плавучий мост», «Северная Аврора», «Петербург», «Южное сияние», «LiteraruS» (Хельсинки), «Литературная учеба» и др., в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки», «Подвиг», «URBI», «Невский Альманах», «Васильевский остров», «Царское село», «Век XXI» и др., а также в различных коллективных сборниках. Участник многих поэтических антологий, в частности, «Строфы XX века» (М., 1999). Лауреат нескольких литературных премий: журнала «Нева» за лучшую поэтическую публикацию 2021 года, Фестиваля гражданской поэзии в Ярославле 2021 г., Четвертого международного литературного тургеневского фестиваля «Бежин луг» — 2021 (победитель в номинации поэзия).

СИНЬ НЕБЕС

САДОВНИК

Рос прежде сад, а теперь зарастает.
Сколько усилий ни трать,
жизнь у заросшего сада простая —
так, день за днем, умирать.

Время подернуло плесенью сливу
и лишаями — ранет.
Но что больны, и не знают счастливо.
Знание больному — во вред.

А вот садовник признать не намерен
данный порядок вещей:
бродит по саду весь день, сивый мерин,
змея не боясь и клещей,

рубит под корень да сучья ломает,
думая, что, вопреки
грозным законам природы, спасает
старый свой сад у реки.

И ведь никто не опишет вам лучше,
как эта радость остра:
бодро подбрасывать мертвые сучья
в пламя живое костра.

Трет, как хомут, ворот потную выю,
но коль поверил, что тут
скоро сквозь мертвых пробьются живые —
смерти назло прорастут,

резать изволь. И неделю, простужен,
режет и режет, вполне
веря, что старому саду он нужен
больше, чем старой жене,

что вот без этого важного дела
вряд ли, очнувшись от сна,
зеленью в ясную синь без предела
грянет из почек весна.

Жалуюсь, что до зарезу работы,
режет, как жилы абрек,
веря, что тот, всей душой для кого ты,
смерть не увидит вовек.

И старый сад, словно чувствуя это,
рад подыграть старику,
изобразив царство тени и света,
где «чик-чирик» да «ку-ку»,

бодро качаясь продрогшим скелетом,
ветру противясь в ночи,
словно живой он на свете на этом,
а не на том уж почти.

Только б старик с тем не ведал разлуки,
что ему дорого тут.
Только б не знал, что сожгут его внуки,
а старый сад — продадут.

Только б когда, в сад идя торопливо,
рухнет, как сбитая дичь,
возле затянутой плесенью сливы,
смерть не успел бы постичь.

И прежде чем здесь в него, неживого,
ткнут острием ножевым,
там, возле сливы, встал на ноги снова,
вечно живым.

ДАР

Сядешь, стихи открыв,
сух внутри, вял, пуст,
но на горе Хорив
вот уж горит куст.

Этот огонь — Бог.
Он для души — дар.
Вспыхни, пока не сдох.
Ты ведь не так стар.

Молча терпеть огонь —
в жизни важней нет.
Слово одно тронь...
Чуешь, как жжется свет?

Тут хоть кричи, хоть
вой, но тому быть:
выжгут слова плоть,
если их суть вскрыть.

Тлеет свеча. Ладонь
льнет к языку огня.
Строчек бежит огонь.
Слышишь, не тронь меня!

Но вдруг займешься весь.
Сам ведь мечтал. Сам.
Чуть потерпи здесь —
будет чем жить там.

ПИСЬМО ОМБУДСМЕНУ

В Вавилоне в час пик — Ватерлоо: задавят в толпе.
Хоть налево пойдешь, хоть направо — разор и разруха.
Это раньше вас в строй возвращали врачи в ЛТП,
а теперь, где той строй, говорят? Ни пера вам, ни пуха.

Если я не Принц датский, согласен на роль двойника.
Просто все же на родине лучше вам быть иностранцем.
Я всего лишь ходил тут вдоль Мойки по-датски слегка,
но на Пряжку, скрутив, отвезли Гильденстерн с Розенкранцем.

Прежде «быть или не быть» вплоть до драки решалось чуть что.
А для этих времен — что в Фонтанку с концами, что в Лету...
Вроде вот ты, как есть, с острой шпагой и в датском пальто.
Но тебя без прописки и справки о выписке — нету.

Нам поставили шах, и повсюду теперь только мат.
По утрам дух перловый, а по вечерам — макароний.
Где-то что-то сломалось, а ты как всегда виноват,
и дрожишь, от эпохи таясь, как за шторой Полоний.

Этот мир явно спятил. В сюжете сплошной перекрут:
нет, не бьет, как бывало, предательски в спину кинжалом,
а сдает в богадельню недвижимого Цезаря Брут.
Новый век лишь вступил, а смердит уж товаром лежалым.

Господин омбудсмен, завершаю. Устало перо.
Связь времен в моей сжатой ладони трещит, как рванина.
Головою о стенку за стенкой все бьется Пьеро,
ждет, когда ему вколет хоть чуточку счастья Мальвина.

На свободу к себе заберите меня поскорей.
А без вас мне отсюда, боюсь, только — Господу в руке.
За окошком по матери снова орет соловей —
так и кроет родимый — не дай Бог от счастья свихнуться.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Будто стерео видишь, едва лишь ступил за дверь.
Здесь безбрежное в вас бесконечному так радо.
Здесь совсем как на зверя глядит на тебя зверь,
размышляя, что зверю такому от зверя надо?

Здесь воздух недышанный, московскому — не чета.
Здесь лемминг глядит из норы, как шахтер из лавы.
И ягель стелется: приляг, все мечты — тщета.
А лег — и прошло: не нужно ни благ, ни славы.

Здесь не Гурзуф, конечно, где каждый раздет, разут.
Здесь греет лишь сруб эпохи еще советской.
Но земля здесь человечину не пробовала на зуб,
потому и жизнь не успела здесь стать людоедской.

Здесь впервые с рожденья приходишь в себя: окстись,
чем для неба важней ты ягеля, зверя, птицы?!
Важно только одно лишь: для всех эта высь.
Забудь, кто ты есть, и все там тебе простится.

* * *

Кто душу в нас вдыхал и сим
жил не иначе,
кому уже не выносим
тот лай собачий

языков, этносов, племен
злых и не очень,
которым имя — легион,
порочный, впрочем.

Кто тем и этим в сердце вхож,
Кто шельму метит,
теперь не пустит ли под нож
все души эти,

те, что он ждал в своем раю,
застыв у двери,
ошибку вдруг признав свою
в какой-то мере?

Ведь если к ним не применить
сию развязку,
они, как прежде, будут мнить
и верить в сказку.

Не наложить хотя б арест
на разум гордый —
мир этот, словно ржа, разъест,
та, с дикой мордой,

цыганской крови горячей,
страшней увечья,
злей отравителей-врачей
суть человечья.

* * *

Утром к окну прилетают грачи,
и, как врачи на больного,
смотрят: мол, жив ты? Кричу им: «Почти!»
И не заснуть уже снова.

Впрочем, к грачам нет претензий. С утра
коль не они, так ворона
криком цыганским подымет с одра
мертвого даже барона.

Что они так все кричат поутру?
Иль им известно такое,
что, разузнай я — от горя умру,
напрочь лишенный покоя?

Лучше не знать здесь ни что, ни когда...
К жизни не ставить вопроса!
И пусть она — как сквозь пальцы вода
И словно дичь — из-под носа.

Зря вы кричите. Я знать не хочу,
что завтра будет со мною.
И не вручу никакому врачу
эту свою паранойю.

Первое средство от правды — первач,
радости пьяной химера.
но уж, конечно, не лечащий врач
с пошлой душой лицемера.

* * *

Если все, что горит, пить, нутром пересохшим шурша,
немца в дрожь приводя, пить, на русский авось уповая,
то вначале от вас соколом отлетает душа,
а потом на дыбы перед вами встает мостовая.

Кто силен от макушки до пят все пропить на корню,
кто себя уж пропил, разве может быть трезвым местами?!
Вот и врач, пригласивший к его изголовью родню,
больше врать и дарить им надежду на чудо не станет.

Он им просто расскажет о водке, которая яд.
То мрачней от скорби, то вдруг от эмпатии тая.
Будто в том, что с их родичем стало, и он виноват.
Вот такой гуманизм и о ближнем забота святая.

Он воскликнет, впуская в окно пух больничных аллей:
«Да, огромна земля, но от смерти на ней где нам скрыться?!»
Что ж, услышав такое, ну кто из них скажет: «Налей!»
на аллее больничной, родным глядя в мертвые лица?!

Кто бы видел глазища вмерзающих в вечности лед!
Кто бы знал, как сжимает их жизни прожженной короста
на рассвете, когда медсестра к ним на крик не идет,
оторваться от сладкого сна не способная просто.

ТАЛАНТЫ

Имея синь небес ввиду,
высь подпирая, как атланты,
мы рады были за еду
отдать тут все свои таланты.

За щи иль суп из топора,
за котелок с перловой кашей
в надежде, что придет пора
непобедимой правды нашей.

Умеет юность, не таясь,
за правду всей душою биться.
Когда к душе не липнет грязь,
она над всем парит как птица.

Но взмыв над жизнью, так легко
принять, не чувствуя обмана,
за аромат «Мадам Клико»
неистребимый дух «Агдама».

И ждать от жизни, как во сне,
времен, когда не адаманты —
таланты нищие в цене
и беззаветные атланты.

А что таланты наши те?
Они пылились жалкой кучей
под спудом где-то в темноте
у торговца на всякий случай.

А вдруг вернется та пора,
когда важнее адаманта
талант есть суп из топора
и суть двужильная атланта?

А вдруг, один на миллион,
придет назвать народом снова
толпу, проклятьем заклеямен,
пророк с опасным даром слова?

Но не вернулось ничего,
и не пришел с опасным даром
пророк. Сжав пальцами чело,
лежал атлант, пропавший даром.

Торгаш вертел свой адамант,
свести с него не в силах взора,
всего бездарного гарант,
всего бездушного опора.

Потом, призвав своих богов,
лез в погреб — те таланты наши,
как скальпы, снятые с врагов,
пересчитать, смешон и страшен.

* * *

Бери, пока еще дается.
пока бодрит, как песня Отса,
дар жизни. Пользуйся, владей,
как пятикнижьем иудей.
Пусть ты — лишь третий план пейзажа
и для товарищей людей
букашки не ценнее даже.

Бери, покуда жизнь блескуча,
а не черна, как пепла туча,
уж от которой не сбежишь,
крестясь, ни в Лондон, ни в Париж.
Пока хотя б духовной пищей
тебя здесь кормит, жил бы лишь
полуживой и духом нищий.

Пока разительно прозрачна
и в кислом сумраке барачном,
но в чем тут фокус — не постичь.
Пока не ждет тебя опричь
она, таясь, как зверь во мраке.
И не трепещешь ты, как дичь
в зубах охотничьей собаки.

Пока пленит Карузо пуще
разбойник щелкающий в куще
на непонятном, но родном.

А жизнь и смерть, как два — в одном
в тебе. Пусть ты — покойник сущий,
а вот за водкой в гастроном
бредешь, как Отс, про жизнь поющий.

* * *

Пока с упорством самодура
мир по щекам меня хлестал,
внутри меня литература
граница твердый свой кристалл.

Пока, отжав души остаток,
мир гнул меня в бараний рог,
невольно становился краток
мой слог, а смысл его глубок.

Мне предлагали стать подложным
письмом в эпоху перемен,
быть для толпы важней, возможно,
чем сам товарищ суверен.

Или пророком стать продажным:
толпе про жизнь такое врать,
что та, услышав хоть однажды,
идет без страха умирать.

Но я молчал, живя в надежде,
что массы, темные как ночь,
взалкают смыслов и, как прежде,
им станет жить уже невмочь.

Умрет в них бычье и овечье,
мысль прояснит их мутный взор:
что жить всю жизнь по-человечьи —
тяжелый труд, а не позор.

Я чуда ждал, не понимая,
какого черта медлит люд,
и отчего толпа — немая,
когда ей в уши пули льют?

Совсем как руку в реку грека,
где непременно цапнет рак...
Ну, разве вера в человека
иному разуму не враг?!

* * *

Когда-то меня мое тело
влекло к деде в сумрак аллеи,
как фрак безупречный сидело
на юности глупой моей.

И в сумраке деву кидая
на павшие листья, меня
несло, как джигита гнедая,
горячую кровь леденя.

Я крался, как хищник в тумане,
таился как градус в вине,
любил как любовник в романе —
все было позволено мне.

Но пылкое то миновало.
Гнедая та — кляча почти.
А время с душой коновала
уныло приходит в ночи

по душу мою, не иначе
как узника темных страстей
любить обязать эту клячу,
служить этой груде костей.

Перины взбивать ей, подушки,
внимать, как за стенкой худой,
от радости стонут подружки,
и молча трясти бородой.

Дыхания вместо — одышка,
и память — как дым без огня.
Не горе джигиту, а крышка,
когда он уже без коня.

* * *

Завывания поэту
я бы все-таки простил,
как и моду — сигарету
сунув в рот, лежать без сил.

Потому что у поэта
ничего, по сути, нет,
кроме белого билета
и надежды выйти в свет

в двух томах, когда на горке
никогда не свистнет рак.
Каждый день поэта горький.
Каждый друг поэту враг.

Каждый звук поэту мука,
если это не о нем.
Вот и смотрит он, как бука,
за окно на окоем.

На футболе не бывает,
всей душой не любит цирк.
Потому и завывает,
как трибун с трибуны ВЦИК.

Все ему выходит боком —
даже с водкою «Агдам».
Но зато всю жизнь он с Богом
говорит тут, как Адам.

Поэт. Родилась в 1979 году в городе Владикавказе. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге. Место работы — СПбГУПТД. Виктория Мамонова — автор многих публикаций и книг. Член Союза писателей XXI века.

НЕВИДИМЫЕ СТЕЖКИ

* * *

Кости брошены — нет смысла маркировать имманентность:
шаг — влево, шаг — вправо — бесшажно;
стояние в присутствии — еще не мужество быть.

Нужно, наконец, удостовериться:
языки описания — бывшие, нынешние, составленные ИИ, —
чудо, как хороши,

но мертвы

мегабайты пророчеств визионеров,
старцев всех возрастов, ангелических и высоковольтных,
знавших сцепки событий вперед.

Беспокойство растет.

У беспокойства природа циклона: шарфы, зонтики, дождевики,
февральский ледяной дождь, ветер стервозный,
горячие пирожки...

но и эмоции отработаны, как отработаны циркачами прыжки.
Обусловленность снята,
причина идет взаймы после кристаллизации обстоятельств,

а мы —
транспортный узел еще-не-хроники, его невидимые стежки.

* * *

жизнь состоит из порыва жить —
зерно противостоит отсутствию и пустоте,
росток — сомкнутой над его изменчивостью земле,
дерево набрасывает ожерелье сезонов на ось постоянства,
равновесие ствола переводит гибкость роста в пространство;

жизнь утверждает право жить —
белый шум сопровождает наплывы проходов;
дар укрупняет план смысла, фон выносит за скобы,
стать видимым — значит именовать безликую очередность,
любой образ кратен безмолвию;

жизнь любит только живое —
быстрокрылое письмо приближает зной полдня,
бег зеленых арабесок вытесняет бесплодное поле,
плотность спеет, превращая в садовую улитку аммонит,
камень — в прозор для беспмятства, магнит — для света;

жизнь раскачивает свой маятник,
но нет другой материи, другого отражения, нет эха.

Поэт. Родился в 1959 году в Москве. Всю жизнь работает в театральной сфере, в настоящее время — в московском театре «Эрмитаж» заведующим художественно-постановочной частью. Член Союза Театральных Деятелей РФ. Почетный работник культуры г. Москвы. Член Союза писателей XXI века с 2021 года. Стихи пишет с юности. В 1984 году занимался в литературной студии под руководством писательницы, прозаика, поэта и переводчика Ольги Ивановны Татариновой. Является членом секции поэзии Московского союза литераторов. Публикации в литературных журналах и альманахах. Лауреат Большой Международной Литературной Премии «Серебряный стрелец» (2011 г.), национальной литературной премии «Поэт года» (2016 г.), 7-й Международной поэтической премии «Образ» (2019 г.). Автор сборников стихотворений: «Слово» — 2008 г., «Начало» — 2015 г., «Повторенье пройденного» — 2018 г., «Говори со мной» — 2019 г., «Только стихи» — 2021 г.

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

НО ВСЕ ЖЕ

ЕЩЕ НЕ СНЕГ

Еще не снег, но копится беда
по перелескам и полям окрестным,
где с неба неизбывная вода
стекает вниз по желобам отвесным.
Где все готово для привычных нег
грядущих зим, и свадебное ложе
из стелых трав, гнилой листвы, но все же
еще не снег.

* * *

Птичьим гомоном наполненные рощи:
горихвостки, зяблики, синицы.
И чего, казалось, было б проще,
замереть, застыть, остановиться.
Вслушаться в их гам,
как в детстве,
возле
приоткрытой двери в кущи рая,
в разговор беседующих взрослых,
половины слов не понимая.

НЕБЕСНЫЙ ПОРТНОЙ

Ища в прогулках зыбкую опору,
меж листопадных всполохов огня,
иду на свет, мне эта осень впору,
как бы нарочно сшита на меня.

Плутаю в складках легковесной взвеси
тумана, неприветного на вид.
Его фасон знакомый мне не тесен,
нигде не жмет, не давит, не сборит.

И свой маршрут возобновляя снова,
продолжив путешествие мое,
благодарю Небесного Портного
за это безыскусное шитье.

* * *

Так откроешь глаза и видишь — уже светло.
И зима над заснеженным домом белым-бела.
Тонкий-тоненький луч пробивается сквозь стекло.
Так проснешься, лежишь и смотришь — а жизнь прошла.

И остался в былом, в недосказанном, где-то там
далеко, в глубине твоей памяти, вешний свет.
И почувствуешь вдруг — ты один, и окликнешь: мам!
Но тотчас же запнешься и вспомнишь, что мамы нет.

* * *

Жизнь держится порукой круговой
на смене вех, на линии кривой,
проложенной из пункта А в пункт Б,
на некой тонкой внутренней резьбе,
на памяти, закрученной в спираль
сознания, где каждая деталь
подогнана, подробна и крепка,
как атомы молекул ДНК.

Она прозрачна и легка, как пар,
как вдох и выдох, как воздушный шар,
что рвется ввысь, упруг и невесом,
на неразрывной нити хромосом,
соединяясь с небом, растворяясь
в глухом пространстве, продолжая связь
предметов и событий, лет и зим,
наполненных дыханием моим.

* * *

Усердные лесные менестрели:
кузнечики, лазоревки, сороки.
Зырянок незатейливые трели
и лягушачий хор в речной осоке.

Природа в час вечернего заката
так насекома, земноводна и перната,
что ты и сам, забыв про все приличья,
и думаешь, и говоришь по-птичьи.

ЖИТЬ

Проснешься внезапно на раз и два.
Что за печальный вид.
Руки-ноги целы и голова
на месте, хотя и болит.

Но там, где екало что-то в груди,
билось еще вчера —
левее... повыше... вот здесь... погляди,
сквозная зияет дыра.

Чертят стрелки за кругом круг,
стрелок известна прыть.
Вот так и проходит любовь, мой друг.
Ты спросишь: что делать? — Жить.

* * *

после долгой разлуки
заново привыкать к твоему имени
доставать из глубин памяти
разноцветных рыб воспоминаний
как на темной лестнице
ногами нащупывая ступеньку за ступенькой
произносить давно забытые слова
узнавать друг друга
соприкасаясь взглядами
губами
кончиками пальцев

ЕЩЕ ОДИН ГОД

Вот еще один год прошел, еще один год.
Про себя отмечаю — вот, еще один год.
И опять что-то как-то кажется: все не в лад.
Как-то так, все не так, неправильно, мимо нот.
А кругом замечает, старается снегопад.
Ни огня, ни следов в снежной замяти не видать.
Ничего, только ровной простынью снег и лед.
Только время листает жизни твоей тетрадь,
оставляя зарубки в памяти, на душе,
глубоко, где-то там, под ложечкой все сосет.
Вот еще один год закончился и уже
ничего не успеть, не исправить. Да и плевать.

ПЕШЕХОД

Гуляю по земле,
смотрю на птиц полет,
как облако плывет
в небесной сини.
Я в этом сентябре
случайный пешеход,
плутающий,
как Моисей в пустыне.

Среди других дорог
куда ведет моя?
Живу, как все живут —
грешу и каюсь.
Но чьи-то голоса
звучат во мне, и я
вплести свой голос
в общий хор пытаюсь.

Поэт. Родился в 1965 году в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов, служил в Советской армии, работал инженером-технологом и химиком в котельной. В 1990-м поступил в Литературный институт имени А. М. Горького. После окончания института, с 1995 года, служил в газете «Книжное обозрение». С 2002-го — в «Независимой газете», книжном приложении «НГ — ExLibris». Автор книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские вопли» (2005), «По кабакам и мирам» (2007, совместно с Ольгой Лукас), «Недобор» (2009, совместно с Всеволодом Емелиным), «Легенды и мифы Древней Греции» (2009) и др. Живет в Москве.

ТАМ И ТУТ

* * *

Читал, читал твою статью
От корки и до корки —
Угрюмую галиматью.
Унылые разборки.

О том, как нежится Ордынка,
Которой не хватает дуста.
Что ж, таковы гримасы рынка
И актуального искусства.

2002

* * *

Баба-яга
Костяная нога

Купила рога.
И два пирога.

Стала счастливою
И красивою.

2023

* * *

Четыре понарошки
Пошли купаться в пруд.
Чумазые их ножки
Мелькали там и тут.

Когда-то был хорошим
И даже чистым пруд.
Но после понарошек
Здесь рыбы не живут.

2023

* * *

Мы ходили по экватору,
Спать мешая аллигатору.
Собирали сельдерей
В краеведческий музей.

Сельдерей не нашли
Посреди всея Земли.
Вот и ходим по экватору,
Жить мешая аллигатору.

2023

* * *

Отправился утром в лес,
Гляжу: старуха седая.
А ей наперерез
Старуха другая.
Та с клюкой
И другая с клюкой.
Ох, будет сейчас мордобой!..

2024

* * *

Памяти Лены Листика

И птице, и рыбе, и зверю
Плывать на вращенье планет.
Не верю, не верю, не верю,
Не верю, что Листика нет.

Забуду, закрою, похерю,
Не верю, не слушаю, бред,
Не верю, не верю, не верю,
Не верю, что Листика нет.

Не надо бубнить про потерю,
Теряется разве что след.
Не верю, не верю, не верю,
Не верю, что Листика нет.

Послушай глухую тетерю,
Единственно верный совет:
Не вижу, не слышу, не верю,
Не знаю, что Листика нет.

2024

* * *

Памяти Лены Листика

Как же задолбали мародеры!
Спрашивают вечно: что случилось?
Нет, вы расскажите поподробней,
Нам ведь интересно — просто жуть,
Нет, вы уточните — что случилось,
Нет, вы расскажите — что случилось.
Ах, такое горе, просто горе.
Мы уже попкорном запаслись.
Как же задолбали мародеры!
Ах, как интересно, интересно!
Ах, она такая молодая!
Ты уж нам подробности давай.
Как же задолбали мародеры!
Что случилось? Я же вам ответил,
Сотню тысяч раз уже ответил.
Умерла, сказал вам, умерла.

Или, может быть, она воскреснет,
Если расскажу вам — «что случилось»?
Как же задолбали!
Помолчите.
Просто помолчите.
Вот и все.

2024

* * *

Памяти Лены Листика

Может быть, она и отлетела,
Штука под названием душа.
Жизнь прошла не так, как ты хотела.
Самое печальное: прошла.

Где-то бродят боги-недотроги,
Ангелы поют и все дела.
Самое печальное в итоге,
Самое обидное: прошла.

Все не так, и числа Фибоначчи
Для тебя, как дым от сигарет.
Даже если было б все иначе,
Жизнь прошла, и жизни больше нет.

Тешит до известного предела
Всякая религия, и вот
Жизнь прошла не так, как ты хотела.
И ушла на дно, как пароход.

2024

ПОЭЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

МЕЖ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

* * *

Хотелось глаза твои у Бога вымолчать —
Просиделось всю ночь, долго так
Вглядываясь в пространство меж звезд.
И ресницы седили, и умолк тот дурак, босиком
скакавший под «тили-бом-бум», превратился в дуб.
И птицами стали руки, ладони к луне развернув,
и казалось, что сомнений не существует, и люди много
живут. И руки взмахнули, вспомнив все адреса.
А я молчу и жду Бога, вспоминая твои глаза.

* * *

А что если обрывки фраз прохожих —
Это послания любимых, не успевших к нам?
А что я пошлю
сквозь абсолютную тишину, вакуум
зимы, влюбившейся в имя твое, вакуум обожания,
вакуум неприсутствия?

«Я тебя завтра вымолю, вылюблю,
блин, откуда ты здесь, можно сойти с ума» —
это правда, это все завтра,
ну а пока

лбом коснуться лба, будто не местные мы, тангата фенуа,
или по-русски — дотянусь губами до сердца, закрыв глаза, губами —
до сердца, ты — до моего виска, губами приложишься к мыслям,
станешь хранителем каждого сна,

ну а пока
я прощаюсь с Лондоном/Аракатакой/Рейкьявиком (нужное подчеркни):
«фер-то ке, а?»
вообще-то они тоже не в курсе. ладно — кричу — бывайте, не обессудьте,
и никогда больше меня не впускайте.
ради тебя. только ради тебя.

* * *

Я говорю: сними обувь твою,
ведь замерзла река.
Я говорю, значит, я за тебя
босыми ногами и разреженной кромкой льда бегу
я за тебя.
Речь — продолжение (я говорю — значит, пальцы и локти, изгибы,
проливы, проемы), речь — предложение (будь со мной), изнеженным
словом тянуться — в итоге сплошными губами остаться, пульсирующей
точкой за ухом.
можно разбить витрину, бросив спичку
в уязвимое место, можно бросить молчание в сердце, разбиться.

* * *

Ты возглас, ты совесть, ты город, ты вечность моя.
Он сошел вниз, избегая
подолгу смотреть на нее, как на
я знаю, что близость — это история, состояние, оживление света,
солнце,
прорастая цветами, все станет прозрачно,
но он видел ее,
как солнце,
будто птичьи глаза, смотрящие в Бога,
не глядя.

* * *

Давай встретимся, женимся, улыбнемся, умрем.
Давай добровольцами в один батальон.
Письма из детства все перечтем
и сожжем. На костре сожжем.

Нашепчи мне что-нибудь по-английски, надиктуй что-нибудь навсегда, я,
как раньше, не могу с тобою набиться, и ловлю, ловлю слова.

Я люблю. И зябну от завитков на затылке.
— ты мой я твоя ты моя я твой —
Какая-то дура в московском маленьком переулке
Машет всеми руками в твое маленькое окно.

Нам ли в нарды играть, прислонив к батареем голые ноги, нам ли курить
в тамбуре до утра, покупать мандарины просто так, без нового года,
и обсуждать полотна Шагала?

Я вскину руки и сдамся,
если ты — нежнее, честнее,
эти сны — микровстречи: грустные арки,
а я вместо шагов считаю деревья

до тебя, до смешного, до золота мили московской — деревья все знают,
деревья кружатся, деревья стихи повторяют друг другу на ухо в попытке
прижаться.

* * *

собака куда-то выводит меня,
и ты возникаешь из анфилады пространств,
входишь в мое
(тут мчится к тебе собака),
улыбкой взрываешь его
за секунду до
освещающая пыль моих войн
пускаю в легкие
похороненные чужие романы, слова, давно лежащие меж послевоенных
руин,
нарочно потерянные.

«Бабах-бах-урра-си-бирь-поко-ре-на» — сердце мое или снова война?
сердце.

«Боже, оставь, мы разберемся сами.
Боже, приди,
я человек
я хочу целоваться губами.

постоянно внушаю псу: «лучше дома, чем на улице выть» —
Господи, научи.
позволь, побегу, как собака,
что счастлива только бегом одним».
стоим.

* * *

Здесь, в зиме, под крепким настом, под поклоном онемевшего фонаря,
пересплю наше лето, персеиды, тебя и себя.
Но мы в саду, нежнее, умирали, дыхание друг друга преломив,
И звуки, обретая плоть, слетали
с моей губы, разбившись
У ног твоих и, став искомым смыслом,
Разлукою тянулись в ладони декабря.
И снова я стою здесь, будто в зале ожидания,
под снегопадом имени тебя.
Дыхание клубится и ветром сносится в шиповника кусты, на ветки
намерзая вместе с памятью,
И звуки сложатся и разобьются
в пустоте тяжелым и таким ненужным никому «скучаю».

* * *

Давай позвоним друг другу,
Обсудим, как замерзает Москва,
Как бекас слетел со страниц красных книг,
А река его не узнала, не приняла,
И длинноного подпрыгнув на юг,
Застыл.
Меж панельных домов, сквозь пещерности арок пойду, прижав телефон,
Прижав телефон пытаясь вдавить голос твой глубже в пространство
ушного канала останься там навсегда понимаешь? останься

Черный зрачок бекаса смотрит мимо,
Мимо меня.
Москва его не узнала, не приняла,
И в неправде воды, где, как бред, небеса-
глаза. Только твои глаза.

* * *

У глаз и мыслей должен же быть предел:
сам с собой соглашаться: «да-да, я заболел», — и провозгласил кухню
свою телефонной будкой. а что, если все кухни телефонные будки. через
окно: ветер? Алло! Это не про Японию.
А что, если самые будки — у последнего этажа: я хотел тебе все-таки
кое-что рассказать, но соседи таскали чемоданы и шкаф, и лифт застрял
где-то между. Бежал, но прислонился к перилам, казалось, что крикнул:
«я любил так тебя. А ты любила?». Конечно, любила. Крикнуть не вышло.

* * *

я нечаянно ветром сюда,
как жук на крошечных крыльях
в поле
твоей абрикосовой
поясницы;
все, во что верилось мне,
стало песком у ног спящего
на берегу водоема —
эти крупинки на каждом крыле
я тебе принесу,
пусть будет твое,
но

Протяни мое имя буква за буквой, чтобы
я убедился, что жив.

* * *

я хотел так касаться пальцами губ твоих дальность,
спорить о неважных вещах,
попеременно сбиваясь на шепот.
Нести отголоски каменных стен,
на себя взвалив эту тяжесть,
если ты б позволила.
Если бы ты сказала: «Иди», —
ладонью раскрывшись ко мне,
выдохнув в мир кислород моих окон, тогда,
Богу сказав, как я счастлив,
лопнуть струною греха
и
смеяться.

* * *

Еду —
всю Москву узнавая,
как женщину в простынях
белых,
как женщину,
севшую на капот черного лимузина
с бутылкой шампанского, голову от смеха задрав,
как колени ее в бесшовных чулках,
как в предгрозы дрожащую арнику,
на экранах советские фильмы.
(эх, жить бы с тобой под одним потолком)
что я еще могу?
Дороги по собачьим следам
узнавать,
поле засеять, через туман
лицо рисовать, целовать, целовать, и
все лапы ведут в человеческую кровать —
к тебе еду.

* * *

Последние этажи — это всегда интим
Это близость неба это птицы кричавшие вдаль про снег который
вернулся это птицы сидящие в метре над головой это окна смотрящие
на твой шаг по занесенной аллее это ты провалился в сугроб по колено
Это ты провалился это мы возвратимся в дом в нас навсегда оставшийся
двор это остывшие крылья мелодии летающей над Москвой это
слетевшее с губ твое имя это шепот это нежность это любовь
это верность и каждое слово по буквам рождается и ищет пути это мы
не вернемся с войны это завянет на сигарете отпечаток шуток спящей
в груди это Бог мастерил наши души одним механизмом будто часы
с автоподзаводом это сны где я руками тянусь к тебе но я это ты и мы
просыпаемся и снова срываются струны прошедшего лета смешные
простые аккорды и поле ромашек раздето
и снова звоню услышать имя свое как радист с тревогой и спета
песенка отважно стуча в аллегretto и пьются чай и бьется пари и нет
тебя, нету,
где ты?

* * *

Протяженность наша —
Неважно.

Еще раз:

«ты удивительно нежный» — но я, желая закусить губу в долгую нить
проводную (это значит — способную провести электричество),
где-то под поцелуем, или в его ожидании,
как слон, тоскующий слон
лег на последний след слоновьего стада,
где-то на севере Чада,
и смотрит глазами, какими может смотреть только слон, прощающий людям
искусство убийства, изготовление копий
и, смирившись, трубит —
так копится воздух в области нижней губы и хочет свободы, вибрируя
в дурацкое «Вы».

как бы тебе сказать...

Улица — бытие идеальное, энергичное,
я только знаю вязкий запах черемухи. Это ты.
Птицы должны умереть на земле, чтоб остаться на небе. Это Бог.
Незаметно к тебе приду. Это?..

Необходимость голоса очевидна,
если в нем заключены слова

—

слова узники
слова должники
слова, что выдают беглецов
слова, что сбегают на родину

-

Голос — это протяженность и воля земли,
Колодец, высеченный в скале,
и все мы говорим
на одном языке.
...Это язык любви.

«Не вини меня, не вини, ради Бога» — здесь поле цветов, и я ноги поджигаю
убого, — «где ты был, когда сожгли тело Патрокла, где же ты был?»

Снова тебе ничего не скажу, посмотрю тебе в глаза и ничего не скажу,
сяду рядом, в невозможной близости от —
и не скажу, вдохну все, что можно вдохнуть, увижу собак, несущих
в зубах последние дни и острую скорбь, стану кожей сплошной, не отдам
ничего никому не отдам, умоюсь водой храбрости, испугаюсь смотреть
на свое отражение, промокнет пространство — ну что ты, что ты, мне же
не жалко — сконцентрирую это в груди, разорву себя на куски

и разлечусь по мирам, вернусь и плачу — как там прекрасно, но надо с тобой — где же ты был? — вылечу шаги больные твои, больные деревья, в чьих стволах ты себя заточил — но все-таки ничего не скажу.

Если танцевать неприлично священнику, что станцуем грешные мы, неумные мы, зная сложившие шовчиком к шовчику?

Если цвет облачений зависит от праздников, что наденем смешные, действительно юные мы, сумевшие только свой след окровавить?

* * *

падай же дождь спотыкайся и падай
и я каждый раз с тобой спотыкаюсь
отсчитываю пальцами пульс грозы — раз — птицы придумавшие крылья
за место под Богом — он уступает: «Хорошо, — говорит, — хорошо, — смеется, — люби».

И по-честному знает — правда за
тем, кто, дожидаясь зари, растянулся в бесконечные пальцы — два —
застыл в долгое «приходи

я люблю тебя» — сбиваюсь со счета —
чтобы ты наконец в машине пыльного цвета
шинами по асфальту шурша
и чтобы в конечном итоге выходя из подъезда
оставляя в длинном пролете заспанные черты лица — это я
выйду из двери человеком
грязным и голым как из матери выходит дитя.

* * *

Знаешь,
а дождь в начале марта это плачет кто-то как будто бог как будто бог
играет на органе и кто-то слышит — о счастливчик — и все-все понимает
и капли медленно и капли престо ма нон троппо слетают вниз и

долетая все прощаются

О воздух полнозвучен нами
как звон хрустальный в полной зале
где новодел соседствует со стариной
и звон проносится в пространстве

чтоб навсегда застыть в тени
что может проявиться только от любви
так и стихи
преодолев препятствия
как перелив как интонация стремятся
к звучности имен как кровь стремится к крови.

* * *

И ночь — старинной колыбели скрип,
И тот фонарь — он скромн и изящен,
печален.
Священник с грешником танцуют твист.
А ты молись,
молись,
чтоб яблоки упали.

Снег в фонарях заблудится
Январской тишиной,
что ангелы нарочно разбросали,
а мы споткнулись
и пошли домой,
где нежность яблок спелостью назвали.

И я прижмусь к тебе, а ты — щекой — погладишь кожу яблока, едва ли
Знаю, где встретились с тобой,
но листья яблони дрожали.

* * *

Дороги московские пахнут пылью,
прибитой водою к асфальту — запах детства для всех москвичей, что
руками в закат, глазами на храм, снами к любимым, кто стал
исключительно снами; вдохнув посильней надоевшее «с нами
бог»,
пальцы разжать — прочь от веток
последних деревьев на мостовой — чтобы больше ничего не ломать; дороги
и город сотканы снова
из слез и женских платков.
Это все — пустое и детское, когда бережешь
ненужное.
и пальцы разжать, и шею не гнуть — как солдат, сложивший оружие.
Как солдат, подмигнувший сам себе в зеркало,

солнце плетет колокольное кружево
из чужих голосов и напутствия матери.
Дороги больны, дороги усыпаны солью.
Соль в сапогах и в голых пятках собак.
Дороги Москвы, от реки расходясь,
пахнут былью и болью —
и вот так вонзается в спину укорительный взгляд.

* * *

Как хорошо быть уверенным, что ты не прочтешь
ни письма моего, ни депеши.
Да, я знаю, ты слышишь
это молчание звезд.
Как мне хотелось неслышно пальцами — в царство твоих волос. Выбегать
на мороз, заранее знать — промерзну насквозь, но небу — смеяться, мне —
гадать на кончиках звезд: сбылось — не сбылось, а кружево наше лилось и
плелось; плевать.
Ты же слышишь молчание звезд?

* * *

Современная жизнь
требует современных схождений с ума. а на той открытке в углу моего
стола застыло, громоздко — в насмешку, полотно — отпечаток
прошедшего века. это столь очевидно и ощутимо до жути, остальное
в мире — просто несчастный случай. и все могло быть намного лучше,
если бы не она.

* * *

Долгой дорогой иду, долго сплю тобой,
нас помнит пространство, помнит в нас то,
не просыпайся.
ваши — вышедшие, выжившие
наши — напутствием, нашествием
мать сказала детям жить и ласкать игрушки, они проверяют оружие.
Они все смотрели глазами в меня,
я —
бесконечно всем телом на дверь,
в нее уходила гаммада тебя, с тобою ушла моя тень.

По ком звонит колокол,
по ком плачут матери?
По юным предателям,
по скрипучим кроватям, где прятались руки,
в снах обязательно встать на распутье,
распутными звездами пишутся ночи,
распутались судьбы.
Запястья нарочно белостью кожи
освобождают,
разбиваюсь о губы,
где смех твой растаял.

* * *

Повторись в моих снах, будто за это
ничего нам не будет,
повтори за мной песню
на чужом языке,
притворись, что мы люди.

Прорасти во мне деревом и заплачь
моим именем,
я прощу, что нет времени.

Господи, ну если чужая — иная,
откровенная,
Какая тогда своя?
Что если всю зиму мыслью о мае живешь,
А весна не пришла?

* * *

Берегу твои волосы,
как нежнейший из братьев
бережет родительские цветы.
Устремились глаза в душу голоса,
бросились, как гончие на следы:
ночь расплела полотно из тьмы,
луна напала
белым котом
на оглушенного голубя
неба.

Приходится сдавать обратно билеты —
прощаю, прощаюсь
и никак от тебя не уеду.
Осветились прошлогодние травы
твоих зрачков,
посветили меня в садовники,
пресные воды слов,
бровей твоих,
губ
напоили меня до утра.

Рухнул рыцарь в доспехах,
рухнул,
не успел раздеться —
это дождь
намочил ржаное поле лица
намочил обувь,
насквозь
до впадин спины
промочил рубаху, штаны,
намекает, что босиком
вернее идти
к тебе или от тебя.

запах вишневый твой
июльским пухом
по комнате носится,
не уляжется.
у Бога за пазухой пахнет страной.
узелок самовольно завяжется.

разбуди меня
по июню,
раскроши на ладони
краюхи хлебные
снов:
ты протянешь одну,
я — другую,
покормим птиц,
прилетевших с чужих берегов.

умоляю:
любимый, будь.
и сгребаю прошлогодние листья,
учась идее выходного дня.
подметаю остатки
пиршества голубей,
отзвонившей роскоши осени,
плясавшей под музыку снега.
ты смеешься:
«ладно, иди сюда. это я».

Прозаик, публицист. Родился в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре» и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат ряда литературных премий, в том числе: Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея», премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Романы «И нет им воздаяния», «Свидание с Квзимодо» вошли в шорт-лист премии «Русский Букер». Роман «Любовь к отеческим гробам» вошел в шорт-лист 2001 года премии «Русский Букер», а также получил премию «Студенческий Букер», роман «Горбатые атланты» вошел в список трех лучших книг Петербурга за 1995 год. Член СП Санкт-Петербурга. Главный редактор журнала «Нева». Постоянный автор журнала «Зинзивер». Живет в Санкт-Петербурге.

ИНЦИДЕНТ

(Рассказ)

ПРОЗА

Я долго перебирал выпавшие на мою долю счастливые случаи, но все они оказывались, так сказать, одноразовыми, не повлекшими никаких серьезных последствий. Ну, нашел я классе этак в пятом семь рублей старыми в книжке «Как закалялась сталь», но все они тут же бесследно разлетелись, как сон, как утренний туман. Пробудив во мне вдобавок ложные надежды. Я начал приглядываться к «Анне Карениной», расправившей книжную полку серой взрослой скукой, и подумывал, что среди такой-то толщины что-нибудь да отыщется, однако у меня уже хватало ума понять, что толщина не признак клада. Но все-таки однажды, чтобы отвязаться, я извлек «Анну Каренину» — и обнаружил в ней одиннадцать рублей.

Тем обиднее было ничего больше не найти в остальных трех тысячах томов. Я тогда надолго усвоил, что удачи — всего лишь издевки дьявола, и с тех пор он, видя, что его раскусили, мне перестал что-либо подбрасывать. Успехи, конечно, бывали, но исключительно добытые трудом. Горбом, патетически выражаясь. Выпадали, конечно, и счастливые встречи, но ведь и добрые отношения даже с самым милым и любимым человеком все равно требуют усилий, подобно тому как ухода требуют любые розы и тюльпаны, это только чертополох растет, хоть поливай его, хоть не поливай.

И все-таки один сравнительно судьбоносный случай я припомнил. Хотя, когда этот случай свалился мне голову, он отнюдь не показался мне счастливым.

Я откуда-то возвращался зимним вечером, по обыкновению витая в облаках: к тому времени я уже перешел в заочную школу, чтобы закончить за год два класса, и хрустальный дворец Науки мерцал совсем близко, где-то по соседству с Медным всадником. Пустая снежная аллея была

освещена, словно театральная декорация, — и вдруг всю сцену, откуда ни возьмись, перекрыла элегантная компания — все как один были в москвичках с шалевыми воротниками, из-под которых сияли красные шарфы: это была униформа золотой молодежи. Шпана у нас ходила в ватниках и, в запашку, в полушубках, с которых предварительно срезались все пуговицы. Один из шалевых, высокий и жизнерадостный, приблизил ко мне красивое праздничное лицо и дал за спину отмашку — не он, пропустите.

И я поспешил удалиться уже по земле. Я даже испугаться не успел. Не гопники все-таки. Хотя и у золотой молодежи кулаки попадались свинцовые. Поближе к дому я вновь вернулся в облака и скоро думать забыл об этом инциденте, в нашем городе, увы, довольно ординарном: как все областные города, мы тоже кичились тем, что по преступности мы вторые в Союзе, — на первое место почему-то никто не замахивался.

И вот я добрался до Медного всадника и прошел крещение Невой со стороны чумазого буксира, слишком близко простучавшего мимо гранитного спуска, и уже обжился в Хрустальном дворце, более всего прекрасном именно своей обшарпанностью: нам не до житейской дребедени (побелка, купорос...), мы парим так высоко, что никому не достать. За пять лет никто не снизошел заменить расколотую стеклянную вывеску: у джигита бешмет рваный, зато оружие в серебре.

А потом служение как-то незаметно превратилось в службу, где не было скучно, но не было и упоительно, и сердце у меня уже не замирало от красоты формул, которые я пишу. Это была вполне престижная научная контора, и место я там занимал вполне пристойное, но это была все-таки контора, а не Хрустальный дворец в поднебесье, и обитатели ее тоже не были небожителями. Это были просто сотрудники, в лучшем случае коллеги.

А держались в большинстве своем так, будто наше бетонное здание и есть Хрустальный дворец.

И я потихоньку приглядывался к тем, кто держался с особенным достоинством: как им это удастся?.. Как они не видят, что все наши труды и достижения бесконечно меньше того, что нам грезилось?..

Больше всего меня занимал один бородатый и не такой уж молодой человек, уже за тридцать ему, кажется, перевалило. Как ему не совестно носить бороду, которая обязывает к чему-то великому, а он был мало того, что не математик (его держали для редактирования институтских сборников и особо важных отчетов), но еще и писатель, что было совсем уж смешно. Еще в университете мой друг Славка подглядел в деканате потешную сценку: немолодой мужик (тоже года тридцать два) пришел восстанавливаться, на что наш замдекана смотрел очень кисло:

— Вы же не учились больше десяти лет...

— Но я за это время написал повесть.

Мы прямо со смеху покатались — надо же до такого додуматься, повесть!

И вот этот бородач тоже пишет повести и при этом держится так надменно, как будто он академик Ляпунов. Ведь если бы даже его печатали, он бы и тогда оставался жалкой и ничтожной личностью, потому что все порядочные писатели обязаны быть умершими, но его еще и не печатали!

А между тем, когда я жил своей более или менее благополучной жизнью, она казалась мне слишком уж маленькой и обыкновенной, зато когда про такую же и еще более тусклую я читал у Чехова, она начинала представляться трагической и значительной. Так я понемногу и стал дрейфовать к сочинительству — чтобы защититься от ощущения собственной мизерности.

И начал догадываться, что никто не остается мизерным, стоит о нем что-то сочинить.

Тогда-то я начал почитать и писателей, которые по недостатку вкуса продолжали жить в одно время со мной, и с удивлением увидел, что, хотя борода им все-таки не пришлась бы впору, кое у кого из них наша жизнь тоже обростала значительностью.

Наша, но не моя.

А этого надменного беднягу так и не печатали, и он и получал-то не больше юных мэнэ-эсов, и, как я узнал, еще и жил на съемной хате, однако борода его была все так же надменно вскинута, и разглядеть в его прищуренных глазах ничего, кроме презрения и гордости, по-прежнему не удавалось.

И вдруг я увидел его фотографию в журнале, если не путаю, «Литературная учеба»! Кто-то, видимо, из маститых, хотя все мои маститые давно пребывали на островах блаженных, рекомендовал его как молодого прозаика, подающего надежды. И я принялся читать его с замирающим сердцем: я надеялся там увидеть себя. Нет, не себя лично, но свою жизнь, которая — кто знает! — вдруг каким-нибудь чудом тоже чем-нибудь наполнится, чем-то таким, чего мне так не хватает.

Я проглатывал абзац за абзацем, но не находил не то что себя — я не находил НИЧЕГО. Это был сплошной подтекст без текста. Похоже, мой бородатый коллега (то-то борода у него была так коротко подстрижена!), подобно многим молодым людям того поколения, подобно самому Хемингуэю, воображал себя Хемингуэем. За кадром творилось что-то страшно трагическое, а герой реагировал необыкновенно мужественно и сдержанно: «Значит, все потеряно? Что ж, значит потеряно».

Подробностей не помню, тому уж миновало черт-те сколько лет, высокие натуры столько и не живут, но я прекрасно помню, что чувствовал себя буквально оскорбленным: так для него нет не только меня, это бы ладно, черт со мной — кто я для него! — но для него как будто бы нет И ЕГО САМОГО!

Что же это за писатель, если он хочет быть выше даже собственной жизни! В реальности его каждый день возят мордой по столу, а в рассказе своем он только сдержанно играет желваками. Какого пинка ему еще нужно отвесить, чтобы он наконец честно взгляделся в собственную жизнь?!

И вдруг мне захотелось это сделать вместо него. А с пинком на помощь тут же явилась давняя золотая компашка из зимней аллеи. И жизнь нашего институтского Хемингуэя начала разворачиваться во мне с такой стремительностью, что пальцы сами попросились к перу, перо к бумаге...

Я только не мог решить, как начать — залихватски, типа «Эх, не повезло Глебушке!..», или величаво: «На город опустилась вечерняя мгла». Я еще не знал, что выбирать нужно не слог, а характер рассказчика, и выбрал стиль монотонный, можно сказать, бубнящий: когда ни на что не претендуешь, меньше шансов оконфузиться.

Глеб Поляков приехал в Ленинград из райцентра с тридцатитысячным населением и, шесть лет назад окончив в Университете филологический факультет, устроился литсотрудником в институт теоретической кибернетики. Оформлен он был младшим научным сотрудником, но занимался редакторской работой, переговорами с издательствами и тому подобным. Служба его устраивала, обеспечивая небольшую, но твердую зарплату и довольно много свободного времени. Это было особенно важно, потому что Глеб считал себя прежде всего писателем и даже несколько раз печатался. Мечты о славе Толстого или Хемингуэя уже давно и незаметно покинули его, теперь он примеривался к гораздо менее знаменитым авторам, и даже простое членство в Союзе писателей представлялось вполне

достойной целью. И сослуживцев, судя по всему, тоже гораздо больше волновали их диссертации, чем мечтания о судьбе Гаусса или Колмогорова. Бессмертие не так уж нужно человеку... Особенно иносказательное. Омрачали настроение на службе, в основном, лишь столкновения с заказчиками, полагающими, что хорошо знают русский язык, — тип, к сожалению, весьма распространенный. Однако в конце концов он научился ладить и с ними.

В субботу, поздно вечером он возвращался к себе на съемную квартиру (у жены он был только прописан). Сквозь зимнюю муть светила луна, и небо было не черным, а тусклым. Вдали горели ярко-белые фонари, похожие сбоку на полумесяцы, неправильной формы, но гораздо ярче настоящего. Глебу захотелось взглянуть на небо, чтобы проверить сравнение, но неохота было открывать холодному ветру укутанный в шарф подбородок, — и тут из-за угла вышли несколько молодых людей и преградили ему дорогу, выстроившись на тротуаре полукругом. Все они были в дефицитных меховых шапках, и всякий невольно залюбовался бы, видя, с какой непринужденной грацией они держатся в столь напряженную минуту. Впоследствии Глебу даже стало казаться, что все они стояли, залихватски подбоченясь и отставив левую ногу, словно некий танцевальный ансамбль. Один из них взял Глеба за поднятый воротник и, придвинувшись, стал поворачивать его голову вправо-влево, чтобы в неверном свете разглядеть лицо.

— В чем дело, ребята? — спросил Глеб, стараясь, чтобы его голос не выражал ничего, кроме любопытства: ну, увидел человек очередь и спросил, что дают, — в худшем случае ответят невежливо или вовсе не ответят.

Ему действительно не ответили, а придвинувшийся еще немного повертел его, потом отодвинулся и сказал: «Не, не он». Парни расступились, и Глеб двинулся дальше, стараясь, чтобы лицо его по-прежнему выражало только недоумение и, пожалуй, немного любопытства, однако не успел он сделать и двух шагов, как почувствовал удар ногой в зад. Собственно, удара-то и не было, обманутая неверным светом нога лишь скользнула по пальто, но все же это несомненно был у д а р н о г о й в з а д.

— Вы что? — спросил Глеб, оглянувшись.

Из-за принятой им роли любопытствующего прохожего его вопрос прозвучал так, будто ничто в их отношениях не предвещало такого поворота событий, да и поворот заключался всего лишь в том, что ему ответили «прошлогодний снег», или «не дают, а продают», или «а вам чего надо?».

— Иди!.. — ответили ему, и он понял, что в самом деле нужно уходить.

И он пошел прочь, по инерции сохраняя выражение недоумения и, пожалуй, немного любопытства, пожимая плечами и все еще чувствуя себя спросившим, что дают.

Однако дома он ясно осознал, что его унизили, и притом постыдно унизили, и почувствовал на лице тяжелый жар. (Глеб был самолюбив: когда жена во время ссоры выкрикнула, что он ей надоел, он немедленно ушел, чтобы больше не возвращаться.) Сердце билось медленно и очень громко, глаза и мысли перебегали с предмета на предмет, чтобы не дать ему как следует осознать происшедшее и защитить его от приступа бессильного бешенства, ибо он знал, что и в бешенстве не сделает ничего решительного, и ему придется притвориться, что такого рода действия противоречат его принципам или что он думает, будто эти танцоры уже ушли, но в глубине души все равно затаится стыд, и унижение усилится еще больше. Вдруг ему так захотелось заплакать, что он удержался с величайшим трудом.

Потом он почувствовал, что ему тяжело оставаться на ногах, и опустился на стул. Чтобы прогнать не ушедшие далеко слезы, он постарался рассмотреть происшествие с комической стороны, но вместо этого ярость охватила его с такой силой, что он доволь-

но долго, зажмурившись и вцепившись в колено онемевшими пальцами, мычал и крутил головой, смутно удивляясь, что коленом чувствует руку, а рукой колено нет.

Когда приступ миновал, он был совершенно обессилен.

Посмотрев на часы, он понял, что прошло уже больше двадцати минут — значит танцоры уже наверняка скрылись и предпринимать что бы то ни было уже поздно. Он с неприятным чувством отметил, что думает об этом с облегчением.

Впрочем, что он мог сделать? Схватить что-нибудь тяжелое (а что?), ударить одного (и, возможно, попасть в тюрьму) и быть избитым остальными (а может быть, искалеченным или даже убитым). И, тем более, униженным вдесятеро. Он уже толком и не помнил, сколько их было — четверо или семеро.

Да сколько бы их ни было, они всегда будут в выигрыше. Побьют сами — отлично, их побьют — тоже ничего, можно заняться отмщением, попадут в милицию — опять будет что вспомнить. А ему ничего этого даром не надо, он хотел всего лишь прийти домой и закончить рассказ, который по дороге продумал до конца.

Так что же, стерпеть — и все? Получалось так: стерпеть — и все. Ведь даже и честь его не задета, поскольку честь всего лишь мнение о нас и что бы мы ни совершили анонимно, честь наша будет оставаться в такой же безопасности, как золото нацистов в сейфах швейцарского банка. Возможно, именно поэтому в неловких ситуациях люди держатся так неестественно — кто преувеличенно развязно, кто преувеличенно вежливо, — чтобы скрыть свое истинное лицо.

Именно для этого — чтобы остаться неузнанными — люди прячутся в условные формы обращения, словно водолазы в скафандр, и чем человек уязвимее, тем реже он выбирается из своего скафандра. Так что и пинка сегодня получил не он, а его скафандр.

Он и с квартирной хозяйкой общается в скафандре — почему-то бодрячка...

Он задумался, мысли потекли куда-то сами собой, и, очнувшись, он обнаружил, что танцоры, кто где, раскиданы по снегу, а он, подбоченясь и отставив ногу, снисходительно интересуется: «Ну что, хватит или еще добавить?»

Какой он, оказывается, дурак в глубине души! До сих пор живет идеалами гопоты.

В его родном городе нравы были простые: взявши в плен чужака, проводжавшего и х девушку, соседские парни заставляли его при помощи спичечного коробка измерять ширину улицы или выть на фонарь. Сам Глеб-то на своей улице был с в о й, так что у него всего только раз срезали с валенок коньки (хорошие, «ласточки», не закругленные «снегурки», хотя и не роскошные «дутьиши»), но не ради самих коньков, а ради сыромятных ремней. Он катался по замерзшему болоту неподалеку от дома, подошли двое пацанов постарше, и один спросил у другого: «Срежем?». «Попробуйте!», — храбро ответил Глеб и через секунду уже лежал на спине, а они возились с его ногами. Он и теперь помнил тупую легкость в ногах без коньков, когда с ревом шел домой. Но вдруг грабители догнали его и вернули и коньки, и ремни, и кто-то из них спросил почти заискивающе: «Мы один ремешок возьмем, а?» — «Возьмите... немного», — всхлипывая, разрешил Глеб.

Так что к унижениям ему было не привыкать. Но в последние годы его как-то разбаловали, хотя и в очень узком, но зато избранном кругу, где его ценили еще и за то, что он был писателем, пусть и начинающим. Чувствуя в этом звании нечто смешное, Глеб часто говорил, что в его годы пора уже быть не начинающим, а кончающим, но приятелям его опусы нравились, а слабости он умел находить даже у классиков, отчего кое-кто считал, что он мог бы писать и получше их. (Они не догадывались, что отсутствие недостатков еще не есть достоинство.) Вращаясь в этой компании и бессознательно не допуская в нее тех, кто мог бы отнестись к нему без должного почтения, Глеб понемногу привык считать,

что обладает способностью внушать невольное уважение. Сегодняшний случай, однако, был в вопиющем противоречии с этим.

Собственно, случай этот, чего уж там, был, конечно, не единственным, но прежде это были мелочи, легко вроде бы забывавшиеся, хотя на самом-то деле ничего забыть невозможно...

Глеб с мучительным наслаждением принялся их перебирать. Вот пьяный проводник ни за что ни про что обругал его, когда он всего-навсего вышел в тамбур, и он, вернувшись в купе, долго сочинял убийственные ответы, прекрасно понимая, что того ничем не прошибешь, разве что доведешь дело до драки, но драться-то он согласился бы только красиво, как в кино, а если кататься по грязному полу, так тут и победе не обрадуешься, да и какая может быть победа в помойке... Тем более что в поезде наверняка и милиция своя.

Написать в газету, в цека, во всемирную лигу сексуальных реформ?..

Но он был еще очень молод тогда. А вот совсем на днях на совещании у директора заспорили о произношении какого-то слова, и он дал правильный ответ с приложением этимологической справки, но, к его удивлению, спор продолжался так, словно бы он ничего и не говорил. Он сгоряча повторил, с тем же результатом, а потом по инерции еще и в третий раз. Это вызвало легкие улыбки, но заметить его так и не заметили.

Внезапно все подобные случаю нахлынули на него в таком изобилии, что он совершенно потерялся. Школы, улицы, почтовые отделения, магазины, трамваи, автобусы, служба, соседи, редакции, редакции, редакции, и не было случая, чтобы после стычки он не чувствовал себя побитым, поэтому наилучшей тактикой всегда оказывалось ПРЕЗРЕНИЕ к обидчикам. Но ведь невозможно презирать тех, кто сильнее тебя, — можно только притворяться...

Но почему тогда близкие считают его гордым и вспыльчивым? Ведь и с женой в тот раз вполне можно было все повернуть к миру, когда она что-то испуганное залепетала, — почему же он остался неумолим? Неужели он, как самый канонический трус, пасует перед сильными и отыгрывается на слабых? Его снова бросило в жар.

Но как же быть? А быть одинаковым и с сильными, и со слабыми. Если уж ты гордый и вспыльчивый, так никому не спускай! Но такие герои уже давно отдыхают на островах блаженных...

Интересно, как ухитрился приобрести свою осанку начальник лаборатории, к которой он приписан, — ведь наверняка в школе его не раз лупили? И осанка эта наверняка не действует на проводников и хулиганов? Да он даже при начальстве держится иначе... Но зачем тогда и осанка, если она никого, кроме тебя самого, не обманывает, а себя самого разве можно обмануть?

Глеб встал и принялся носить скопившуюся за несколько дней грязную посуду в раковину на кухню, а то хозяйка утром уже указала ему, что он слишком много тарелок перетаскал к себе в комнату. Машинально отскребая от тарелок присохшие оболочки магазинных пельменей, из которых он варил что-то вроде похлебки, Глеб стал сочинять рассказ о сегодняшнем происшествии — и понял, что никак не может изобразить героя униженным. Обрушить на него любые несчастья — это сколько угодно, но герой при этом всегда и отбреет кого угодно, и морду набьет кому угодно. Это что, выучка Ремарка и Хемингуэя? Впрочем, это многих славных путь — брать реванш в фантазиях. Неужели и он сочиняет ради этого?

Если так, стоит ли писать? Деньги? Да у него на машинисток уходит больше, чем все его гонорары. Но чего он будет стоить без веры в свое писательское призвание? Просто-напросто — как он будет жить?

Он начал перебирать своих сильных героев, никогда не теряющих головы и всегда хладнокровно выбирающих из двух зол меньшее, каким бы огромным оно ни было. Смех и грех! Да любого тряхни как следует, и он будет бегать и кричать: «Мама, мама!» Уж он-то сам во всяком случае.

Ну так и пиши про таких, как ты сам!

Эта мысль при всей ее тривиальности почему-то никогда не приходила ему в голову — он даже перестал вытирать вымытую посуду. Он вспомнил, что в детстве был ужасным плаксой и очень этого стыдился, — а может, надо было гордиться? Он завидовал дружку, который с похорон своей бабушки, часто угощавшей их шанежками, ушел в кино. А сам Глеб, когда увидел на плите сухари из ее шанежек, чуть не задохнулся от слез, убежал в сарай и долго стоял там, раскрывая рот, как рыба на берегу. И он завидовал черствости, считая ее мужеством! А ведь когда он обварил руки, все удивлялись, что он разговаривает как ни в чем не бывало. Но ему было мало этого, он воспитывал в себе равнодушие к чужим страданиям и сильно в этом преуспел. Теперь, когда его вдруг пронзала беспричинная, как ему казалось, жалость к чьей-нибудь беспомощной ноте в голосе, испуганному взгляду, повороту головы, он думал: «Нервы расшалились». И это случалось с ним все реже и реже. А когда-то было истинным наказанием.

Однажды Глеб крутился с ребятами у киоска, где продавали ужасное, наполовину состоящее из льда мороженое. Вообще-то мороженого в городке не водилось, но изредка оно откуда-то возникало, и даже в картонных стаканчиках. Тогда все, у кого были деньги, становились в очередь по нескольку раз, так как в одни руки «отпускали» только два стаканчика. Какой-то парень из степного совхоза, в жару одетый в брезентовый плащ, с двумя стаканчиками направлялся к грузовику, в кузове которого сидели пятеро парней и девушка, — второй стаканчик предназначался, видимо, ей. Когда он перелезал через борт, один из парней крикнул: «Отбери у него мороженое!», а парень с мороженым, кинув на него беспомощно-тревожный взгляд, детским движением прижал стаканчики к груди. Увидев это, Глеб бросился к матери и, захлебываясь от слез, пытался рассказать ей, но оказалось, что и рассказывать нечего.

А очень молодая беременная женщина в поезде, которая начала рыдать, когда ее стал отчитывать контролер. А он, сжавшись, думал: ведь она, наверно, не из-за этого плачет, а просто уже сил не осталось. И сколько еще таких случаев было!..

Да что случаев, у него сжималось сердце, когда он видел немолодую усталую женщину в нарядном платье, мгновенно воображая, как она выбирает ткань, прикладывая ее то к руке, то к груди, пытаясь взглянуть на себя со стороны, обдумывает фасон, рукавички, сосредоточенно подбирает брошку, — и вот она возвращается из гостей, лицо покрасневшее, но все равно усталое и еще более постаревшее — воспаленный румянец странно контрастирует с безмятежной алостью губной помады, подбородок отвисает, на ногах вздулись вены, и платье, уже не новое, помято и кое-где закапано. Стеклашки же на броши так никем и не были замечены, да ей и не до них, она уже озабочена чем-то совсем другим.

А случайно взглянув на женщину с набитой авоськой, он представлял, как она дожидается своей очереди в кассу, перебирая в уме, кто из ее трутней что любит и чего не любит, и вот выбрала и волочет своим дармоедам, потому что знает, что если человек допускает слишком большие перерывы между принятиями пищи или принимает недоброкачественную пищу, то может заболеть, а она больше всего на свете не желает, чтобы это случилось с кем-нибудь из ее детенышей от сосунков до старичков и старушек. Но если даже это и случится, она и тут будет знать, что ей делать, о чем беспокоиться и для кого стараться.

Почему-то мужчины трогали его меньше, может быть, потому, что они больше пыжились, что-то из себя изображали. Не то чтобы они были менее искренними — женщины, пожалуй, бывают неискренними чаще, но у них и неискренность какая-то искренняя, как у детей. И обувь у них маленькая, даже у толстых и злых...

А мальчишка, который, ужасно гордый, шел по берегу Детвы с удочкой и целой связкой окуней на камышинке, и к нему подошли двое поменьше, и один сказал: «Давай кукан. Ты у меня стырил», а тот, пока еще удивленно, ответил: «Нет, я за садом наловил», а те сказали стоявшему тут же мускулисту красавцу: «Толя, он у нас кукан стырил», а Толя, секунду подумав, распорядился: «Дайте ему!» — и они начали его бить, а он даже не сопротивлялся, потому что мускулистый красавец стоял здесь же, а только закрывался и горестно повторял: «Это не твой кукан, это мой кукан!», а те все били его и били, и он наконец, чтобы как-то прекратить это, завыл, и тогда грабители оставили его, взяли связку и направились в сторону города, а ограбленный, воя уже потише, поднял удочку и пошел прежней дорогой.

Глеб почувствовал, как невыплаканные слезы подступают к глазам и текут по лицу. Ему вдруг мучительно захотелось прямо сейчас же, сию минуту написать что-то такое, что все ужаснутся и постигнут наконец, как это страшно — обидеть кого-то. Даже самую малость!

Он поспешно вытер лицо посудным полотенцем, поставил недотертые тарелки в шкаф (и так просохнут) и пошел в свою комнату, но внезапно хозяйкина дверь щелкнула, и она, крепкая, сорокалетняя, в начинающем лосниться махровом халате, выглянула в прихожую.

— Здравствуйте, Глеб. — Мгновенная улыбка сменилась выражением требовательной, но справедливой начальницы. — Вы сегодня опять оставили в ванной свой бритвенный прибор.

— Здравствуйте, хорошо, уберу, — скороговоркой отрапортовал Глеб и хотел прошмыгнуть к себе, но она, взглядевшись в него, спросила:

— Что с вами? Случилось что-нибудь?

— Да нет, ничего, обморозился, — пробормотал Глеб, проскальзывая мимо и уже у себя в комнате заливаясь краской.

Он погляделся в зеркало — глаза и нос действительно распухли. А вот борода была все такая же — гордая и мужественная. Ему ведь и бритвенный прибор нужен только для того, чтобы подравнивать ее контур, а ради чего? Если тебе дают пинка под зад, а ты при этом еще и в ухоженной мужественной бороде — это уже вообще ни в какие ворота.

Он сел за стол, ясно понимая, что совершенно не представляет, как и с чего ему начать. Эврика! Первым делом нужно сбрить бороду!

Так давняя шалевая команда подарила мне первый рассказ. Признаюсь, мне было нелегко распечатывать личную камеру пыток, которая имеется у каждого в бесконечных лабиринтах памяти, но лихорадочное записывание, вычеркивание и переписывание все новых и новых строчек открыло мне, что изображение горестей может сделаться увлекательнейшим делом. Больше того, вложив в институтского Хемингуэя изрядный кусок самого себя, я проникся к нему такой симпатией, что решил снова начать с ним здороваться, хотя он на мои приветствия никогда не отвечал.

Я специально отправился в дирекцию, где он довольно часто вынужден был ошиваться, и — новая удача — увидел, что мой рассказ совершил еще одно чудо: НАШ ХЕМИНГУЭЙ ОКАЗАЛСЯ БЕЗ БОРОДЫ! Вот она — волшебная сила искусства!

Потом, конечно, начались суровые будни — временами мне казалось, что я заразился судьбой своего героя. Я назвал рассказ «Инцидент» (он был длиннее, чем сейчас, я еще

верил, что людям что-то можно разъяснить) и понес его в журнал «Аврора» — я слышал, что там печатают молодых интересных писателей, а я в ту пору был еще молод и, как мне казалось, довольно интересен.

За столом перед входом сидела строгая классная дама, и я остановился, не зная, что мне делать дальше.

— Ну что вы встали? — сурово спросила она и добавила в пространство: — А то схватят что-нибудь со стола...

Хотя я таких привычек не имел даже в детстве, а в ту пору был уже каким-никаким ученым, кандидатом наук, автором двух десятков статей, переведенных на англиш, ответственным исполнителем двух серьезных народно-хозяйственных тем...

Когда я через месяц пришел за результатом, мне предложили порыться в стопке рукописей на подоконнике. Я прочитывал только первые фразы: «Кровавый закат развернул свои крылья», «Однажды пришел Достоевский к Карамзину», «Захар, отхаркнувшись, врубил третью скорость», «Прожектора вышаривали фашистских стервятников»...

Ага, вот и мой Глеб Поляков — к мятому, запятнанному листу (в машбюро драли по двадцать коп. страница — порция мороженого...) небрежной скрепкой косо прицеплен приговор: мелкотемье, отсутствие крупных характеров и, на десерт, незнакомое мне тогда еще слово «психоложество».

И все-таки мой «Инцидент» был опубликован в «Севере» (о «Север», «Север» чародей!), и сразу трое знакомых сообщили мне, что критик Дмитриев по телевизору предъявил меня городу и миру в качестве заслуживающего внимания прозаика. И тут же следом я получил порцию этого самого внимания от газеты «Советская Россия», где критик Бондаренко назвал моего героя (а в подтексте и меня вместе с ним) униженной рептилией. Так и пошло — каждая редкая публикация где-то кем-то осуждалась, то в обкоме, то в хренкоме, и каждая приносила мне новых друзей, и даже в ту же «Аврору» я понемногу стал ходить как к добрым знакомым. Любители литературы представляли в ту пору что-то вроде катакомбной церкви — они передавали меня друг другу и где могли продвигали, и со всеми с ними у меня до сих пор самые нежные отношения.

Да, бывали и часы, и дни, и месяцы отчаяния, когда казалось, что бетонной стене не будет конца, и лучше было бы, наверно, силы, отданные выстаиванию, отдавать творчеству. Я был бы веселее, оптимистичнее — но достоинства ли это для писателя, чье дело видеть трагизм бытия и обращать его в красоту?

Да, тот давний инцидент принес мне, как жароптицево перо, много, много покою. Но с той поры я начал потихоньку переселяться в неизмеримо более красивую и значительную вселенную.

Прозаик. Родилась в 1987 года в Москве. Окончила журфак и аспирантуру философского факультета МГУ. Десять лет проработала в научно-популярном журнале «Наука и религия», сейчас главный редактор ИД Максима Бурдина. Прозаик, публицист, критик, кандидат философских наук. Автор книг прозы «Письмо с этого света» (М., 2015), «Нано» (М., 2018) и романа «Транзишн», опубликованного в 2023 г. в США, в русско-американском литературном журнале «Времена». Победитель Международного литературного конкурса «ЭтноПеро» (2022). Лауреат Международной премии «Литературный Олимп» МГО СПР с вручением одноименной медали (2020). Лауреат (2022) и член жюри (2023) Литературной премии «ДИАС», постоянный член жюри Общенациональной литературной премии «Неформат». Дипломант литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» (2019, 2021), ММЛК «Веское слово» (2020). Лауреат журнала «Зинзивер» и газеты «Литературные известия». Публиковалась в журналах «Времена», «Нева», «Знамя», «Причал», «Гостиная», «Зинзивер», «Дети Ра», «Наука и религия», «Российский колокол», «Персона PLUS», «Литературный Иерусалим», газетах «НГ-Exlibris», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные известия», «Поэтоград» и др. Член Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, Президиума Союза писателей XXI века, Международного союза писателей Иерусалима.

РАФФИ

(Рассказ)

— Все, Раффи! Раффи, фу!

Ее мягкие руки, с минуту крепко обнимавшие широкий, мохнатый загривок, разжались, и ароматная ладонь слегка похлопала по чувствительному мокрому носу.

— Р-рраф!

Не желая подчиняться, Раффи продолжал елозить передними лапами по Ее крепко стиснутым коленям и заискивающе вилять хвостом, быстро и упрямо вылизывая Ей лицо.

Лицо было соленым. Раффи не любил, когда Ее лицо становилось соленым. От этого он, сам не зная почему, всегда нервничал, и привычная обстановка комнаты внезапно становилась враждебной и такой тоскливой, что хотелось запрокинуть морду к потолку и громко взвыть — но он не смел, зная, что Она еще сильнее расстроится. Не в силах усидеть на месте от беспокойства, он в такие минуты делал все, чтобы Ей понравиться. И лишь когда Она начинала смеяться, комната переставала щериться на Раффи выпуклыми углами неприкосновенной мебели, проходило желание выть и рвать зубами окружающие предметы, и только тогда он спокойно шел к своей миске или умиротворенно укладывался у Ее ног, поддаваясь сладкой, расслабляющей дреме.

— Раффи! Я кому сказала? Место!

Тихо заскулив, белый мохнатый пес наконец недовольно отпрянул, чувствуя, что на этот раз так и не смог добиться желаемого. Нехотя улегшись на свою лежанку в углу, он принялся яростно грызть искусственную косточку, вымещая на ней всю свою досаду. Делая вид, что теперь он очень занят, Раффи продолжал искоса поглядывать в сторону дивана и, наострив треугольники ушей, слушал, как Она тихо сморкается в бумажный платок.

— Что ж, Раффи... Наверное, мы опять не дождемся, чтобы он тебя выгулял, а? — Спустя какое-то время вновь зазвучал Ее голос, и Раффи, мгновенно отшвырнув косточку в сторо-

ну, стрекозой сорвался с места и встал посреди комнаты, уставившись на Нее черными бусинами внимательных глаз.

С двойным щелчком свет вышел из комнаты, переместившись в коридор, и Раффи радостно выскочил вслед за ним, с нетерпением наблюдая, как из дверец шкафа выплывает коричневое шерстяное пальто, красный зонтик и вязаная шапочка. Еле утерпев, чтобы не начать прыгать раньше времени, Раффи позволил застегнуть на своей мощной шее ошейник с поводком, после чего первым кинулся к двери, крутясь под ногами и мешая отпереть замок.

Еще раз щелкнув, свет покинул коридор, и Раффи снова — каждый раз, как в первый, — почувствовал трепет от охватившей его прохлады лестничной клетки. Натягивая поводок и тихонько погавкивая, он резво побежал вниз по ступеням.

— Раффи! Раффи! Ну куда ты так несешься, я же упаду! Лошадь ты, а не собака!

— Р-рраф!

Раззявив пасть в широкую улыбку и высунув дрожащий розовый язык, Раффи с наслаждением втянул ноздрями сырой, холодный вечерний воздух. Крупные дождевые капли упали на востроносую мордочку пса, но от этого он лишь веселее потрусил по улице в сторону собачьей площадки, где, кроме них, уже никого не было. Подмокшая каша пожухлых листьев приятно похрустывала под его бодрой трусцой, чуткий нюх улавливал земляной запах осенней гнильцы и отдаленные выхлопные газы проезжей части. Остановившись перед большой лужей, мерцавшей в свете фонаря, Раффи с интересом наклонился, чтобы посмотреть, как на ее дрожащей поверхности надуваются водяные пузыри. Протянув лапу, он осторожно шлепнул по одному из них, как вдруг заметил, что из лужи на него пристально глядит белый мохнатый чужак. С громким лаем Раффи прыгнул вперед, ударив по незнакомцу всеми четырьмя лапами.

— Раффи! Ну, куда ты полез! — раздраженно окликнула Она, дергая за поводок. — Опять все пузо будет грязное! Он придет уставший, а тебя надо мыть! Ругать же будет!

Оказавшись за забором собачьей площадки и получив на время свободу от поводка, Раффи принялся весело, с радостным повизгиванием носиться по кругу. В несколько грациозных скачков он принес палку, которую Она ему бросила, и в душе сам залюбовался своей проворностью. Чувствуя, что Она наблюдает за ним из-под раскрытого зонта, он только делал вид, будто всецело увлечен игрой, а сам при этом изо всех сил старался продемонстрировать Ей всю свою ловкость, быстроту и мощь.

— Ах ты, мой пушистый белый медвежонок! — Замерзшие пальцы нырнули в теплую, густую шерсть возле торчащего уха и ласково почесали. От удовольствия Раффи зажмурился, подставляя хрупкой женской руке косматую голову. — Давай, делай уже скорее свои дела и пошли, холодно!

Тьма заволокла квартиру, и в доме воцарилась тишина. Было слышно, как тикают на кухне настенные часы и как в комнате Она глубоко дышит во сне, обнимая подушку, переворачиваясь с боку на бок и изредка постанывая. Раффи знал, что Ей снятся дурные сны. Хотя у него самого глаза слипались и голова тяжелела, он не позволял себе полностью погрузиться в сон и лежал в охранной позе возле входной двери в коридоре. Он ждал Хозяина.

Хозяин был тем, кто умел заставить Раффи слушаться беспрекословно. Он лучше самого Раффи знал, что и в какой момент тому следует делать, умел поощрять за образцовое выполнение команд и строго наказывать за гадости. Когда они гуляли с Хозяином, Раффи послушно шел у ноги, не рвался с поводка, не лаял на прохожих, зная, что неповиновение ему обойдется дорого. Милующая и карающая рука Хозяина была для Раффи подобием Бога. Раффи не помнил жизни без Него. Хозяин был всегда, существовал столько, сколько

существовал сам Раффи, и в преданную собачью голову никогда бы не могло прийти оценивать Его.

А вот Она... Она была совсем другое дело. Раффи помнил, что Она появилась не сразу, и к тому моменту он был уже взрослым. Поначалу он отнесся к Ней с ревностью. Но за те три года, что Она жила в их с Хозяином доме, Раффи досконально изучил Ее, узнал все оттенки приносимых Ею запахов, без слов научился считывать Ее настроение и быстро понял, что доминирует над Ней. Если Хозяин знал о Раффи все, то Она не знала ничего, плохо понимала, как с ним следует обращаться, а потому почти всегда была ласкова и податлива на любые его проделки.

— Раффи, а, Раффи? Круть — верть! Круть — верть! — Ее тонкий палец с заостренным крашеным ногтем водил над его задранным носом по часовой и против часовой стрелки, и Раффи на задних лапах поворачивался вокруг своей оси то вправо, то влево. Она всегда от этого заливисто смеялась. Он любил, когда Она смеялась. Но слушался лишь тогда, когда сам был в настроении, ведь Раффи знал, что и без всяких фокусов может легко выпросить у Нее лишнюю порцию еды или незаслуженное лакомство. Понимал он и то, как неуверенно Она чувствует себя с ним на улице, как идет, держась за поводок, словно потерянная. Ощущая себя Ее защитником, Раффи рядом с Ней всегда рвался вперед и звонко облаивал посторонних людей и собак, если, по его мнению, они приближались к Ней слишком близко.

— Раффи, фу! Раффи... Невоспитанная собака!.. — жалобно причитала Она, семена за своенравным питомцем.

— Р-рраф! Аф!

— Тссс...

Вскочив с места, Раффи приветственно замахал хвостом и внимательно обнюхал руку явившегося к середине ночи Хозяина. Затем столь же тщательно обследовал оставленные в коридоре ботинки. Когда Хозяин заявлялся так поздно, Он приносил с собой неприятный, тяжелый запах — иногда совсем слабый, но изредка и сильный, почти невыносимый. Раффи знал, что такой же запах живет в стеклянной бутылке с темно-бурой жидкостью, которую Хозяин доставал из кухонного шкафчика в те дни, когда Она уходила «Кмаме».

Раффи очень не любил это «Кмаме». Это означало, что Она исчезнет на сутки или двое, а затем принесет на ногах запах чужого дома и кошачьей шерсти.

Впрочем, в последнее время и сам Хозяин, помимо алкогольных паров, приносил на руках и одежде кое-что постороннее. Кое-что, с чем Раффи успел недавно познакомиться.

Это была Та, Другая.

Другая тоже была ничего. От нее вкусно пахло сладкими духами и мясными конфетами, которые новая гостья вынимала из сумочки и охотно угощала Раффи, называя его «хорошим мальчиком». Раффи понимал, что Другая тоже хочет ему понравиться, но он все равно не любил этих визитов. Приход Другой означал, что перед носом Раффи захлопнется дверь в комнату на несколько часов, а Она будет дома поздно или вообще не придет ночевать.

— Раффи! Ты опять стащил с кровати и порвал простыню, пока меня не было, — вздыхала Она по возвращении. — Уж я на тебя ему пожалуюсь! Невоспитанная, невоспитанная собака...

— А-аууууу! А-аууууу!

С громким шлепком брошенный Хозяином тапок больно ударил Раффи по боку и заставил пулей вылететь из комнаты. В страхе забившись под стол на кухне, пес громко заплакал и принялся ожесточенно обтачивать клыками деревянную ножку стула — первое, что попало под его разгоряченную пасть. Он весь превратился в слух и вздрагивал от ушей до хвоста каждый раз, когда крики из комнаты становились громче или на пол с грохотом падал

очередной опрокинутый предмет. Из этих непрерывных душераздирающих криков Раффи никак не мог понять, отчего они так злятся. Что он такого сделал?.. В чем провинился?.. Не в силах разгадать причины столь бурного гнева людей, Раффи чувствовал себя пристыженным и виноватым, тщетно пытаясь сопоставить свои действия с разверзшимися в его доме громами небесными. Что-то подсказывало его собачьему сердцу, что обрушившееся на него наказание несправедливо.

Спустя некоторое время он услышал, как с ударом об стену распахнулась комнатная дверь, раздались Ее непривычно быстрые, взволнованные шаги, и, все еще боясь наказания, прижимаясь брюхом к земле, Раффи осторожно выполз из кухни, чтобы украдкой посмотреть, как Она быстро и шумно одевается. Даже не взглянув в его сторону, не поднимая глаз и непрестанно утирая лицо руками, Она отперла дверь, крикнула в сторону комнаты что-то визгливо-невнятное и ушла.

На рассвете Раффи так и проснулся на кухне под столом, где его нашел Хозяин. Не грубо и не ласково, а как-то, словно на автомате, он застегнул на шее пса ошейник, вывел его во двор на пять минут, так что Раффи еле успел задрать ногу на столб и присесть под кустик, и, не дав даже немного порезвиться с опавшими листьями, потащил четвероного друга обратно домой.

Она пришла вскоре после того, как Хозяин ушел «Наработу». Щедро накормила Раффи дополнительной порцией еды, долго обнимала его, пока он Ее вылизывал. Ее лицо снова было соленым.

Пройдя в комнату, Она достала из шкафа большой матерчатый ящик на колесах и принялась складывать в него вещи. Пес помнил, что в последний раз, когда этот ящик покидал шкаф, Хозяин отдал его, Раффи, на две недели в другой дом чужим людям. С тех пор этот неприятный предмет ему не нравился. Он тихо угрожающе зарычал. Зажужжав смыкающейся молнией чемодана, Она подошла к Раффи, присела на корточки и, нежно глядя в грустные собачьи глаза, снова стала трепать его за ушами и обнимать.

— Прости меня... Прости, мой белый медвежонок... Нельзя иначе, понимаешь?.. Никак нельзя...

— Р-рраф! Р-раф! А-ауууу!

Погромыхивая колесами, чемодан выкатился в коридор и следом за Ней скрылся за дверью.

— Ну, что ты, малыш?.. — Рука Хозяина ласково погладила косматый загривок Раффи и пододвинула нетронутую миску со свежим кормом. — Ты уже третий день вот так лежишь и совсем не кушаешь. Давай-ка, дружище, встряхнись немного, поешь!..

Нехотя взглянув на Хозяина, пес безразлично потянулся к угощению, полизал немного и улегся обратно у входной двери.

Усевшись рядом с Раффи на полу, Хозяин снова почесал его за ухом, прижав пушистую щеку пса к своему колену.

— Я понимаю, дружок. — Хозяин тяжело вздохнул. — Скучаешь по ней, да? Я тоже... Запутался я совсем. Натворил дел... Хватит, Раффи. Ждать бесполезно. Она больше не придет.

Встряхнув головой, пес отстранился от хозяйских рук и опустил морду на передние лапы.

Ее запах витал по квартире, источаясь каждым предметом и наполняя собачьи легкие.

Она вернется. Не может не вернуться.

Раффи беззаветно любил Ее.

Прозаик. Окончил Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза. После окончания Курсов переводчиков ООН проработал 5 лет в Секретариате ООН в Нью-Йорке. По возвращении трудился 2 года в ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам). Затем перешел в МИД, работал в Первом Европейском отделе и в Департаменте лингвистического обеспечения. За это время окончил Дипломатическую Академию. Работал на переговорах по разоружению в Женеве и Вене. После выхода в отставку работает по разовым контрактам в Секретариате ООН в Вене и в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и других международных организациях. В ходе работы в МИД участвовал в различных переговорах, в том числе на высшем уровне. Автор двух книг. Член Союза писателей XXI века с 2024 года.

НА ЭКСКУРСИИ В МОСКВЕ

МЕМОУАРЫ

Нередко в людных местах, на площадях у вокзалов и у станций метро, особенно у больших, пересадочных, можно было услышать объявления, через громкоговоритель/мегафон, в народе его ласково-пренебрежительно называли матюгальник, не замысловатого содержания: «Дорогие москвичи и гости столицы! Приглашаем вас совершить обзорную экскурсию по городу. Вы сможете ознакомиться с главными достопримечательностями нашей столицы, включая Красную площадь». Или на более специализированную экскурсию, тематическую, осмотреть ВСХВ, позднее переименованную в ВДНХ, наряду с Красной площадью, она была непременным атрибутом, изюминкой всех или большинства маршрутов, или побывать в ЦПКиО имени Горького, в Центральном парке культуры и отдыха, покататься на аттракционах, в том числе на Чертовом колесе, теперь надо говорить политкорректно, на Колесе обозрения, увидеть всю столицу с высоты птичьего полета, или прокатиться на речном трамвайчике по Москва-реке. То есть познакомиться с основными достопримечательностями нашего города, конечно, не все они были одинакового художественного достоинства, были и спорные моменты. Об этом чуть позже. При этом, как правило, из объявления следовало, или как-то так невзначай получалось, что на все про все: принятие решения, приобретение билетов и, собственно, размещение в автобусе, времени всегда оставалось в обрез, от силы пара минут, ни больше ни меньше.

Безусловно, начинать надо с Красной площади. Конечно, когда проходишь через Воскресенские ворота и начинается небольшой подъем уже с выходом на саму, площадь, на брусчатку, становится волнительно. Нет, не волнительно — дух захватывает, дыхание перехватывает, даже не знаю, как сказать точнее. Когда-то на площади шумело торжище

со всеми, присущими ему запахами и звуками, располагались торговые ряды, и тут же была плаха, торжище и плаха все рядом, все вместе, связаны неразрывно. Лобное место, место самых громких публичных казней, и кровь лилась настоящая, и казни были всамделишные, не постановочные; здесь же объявлялось о важных событиях или указах власти. В наше время площадь-то место, где проходят впечатляющие военные парады. Есть еще три входа на площадь, но они не могут сравниться с тем видом, который открывается от Воскресенских ворот, он самый впечатляющий. Вся площадь перед глазами, она, на самом деле, не такая уж большая. Ее венчает Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, больше известный как храм Василия Блаженного. Сказочный, как будто игрушечный, расписной пряник; и торжественный, и одновременно очень трогательный.

Имперская столица, Санкт Петербург, вся по единому плану, по ранжиру, по линейке, в Питере отметились лучшие архитекторы своего времени, а здесь, в Москве, слоеный пирог исторических эпох, смыслов, архитектурных стилей. Во всем архитектурном ансамбле есть не самое приметное, и появившееся сравнительно недавно здание, вписано оно очень точно, если не сказать аккуратно, в исторически сложившийся архитектурный ансамбль, складывавшийся веками. Академик архитектуры А. В. Щусев — талант, школа, опыт, отсюда и, как следствие, авторитет — справился с заданием прекрасно, а задание было и необычным, и исключительно ответственным. В этом случае с выбором автора, творца, никак нельзя было промахнуться: во всяком случае не как бог на душу положит и уж тем более не абы как! Уже много позже словосочетание академик архитектуры, с легкой руки киношников, приобрело иронический оттенок.

Возведенное сооружение, оно не сразу приобрело свой нынешний облик, стало очень важным и функционально, и в историческом плане, а в последние годы оказалось еще и в центре предметом ожесточенных политических и идеологических споров.

МАВЗОЛЕЙ В. И. ЛЕНИНА

Через всю площадь к нему, к Мавзолею, извиваясь, тянется ручеек — очередь, люди разного возраста, часто с детьми. Экскурсия на Красную площадь включала в себя заход и осмотр помещения, где лежит тело давно умершего человека: предлагается зайти и поклониться, и отдать дань, чему или кому? Естественно, мне было сказано, по возрасту, что здесь «лежит дедушка Ленин, вождь нашей революции». Мне было лет шесть или семь, когда я с родителями во время экскурсии очутился в Мавзолее. На меня эта часть экскурсии произвела жуткое впечатление — слишком нежный ребенок, не иначе.

И тем не менее история, она такая, какая она есть: из песни слова не выкинешь. Один популярный московский священник, не так давно отошедший в мир иной, Царствие ему небесное, часто любил повторять, что, вот, мол, «пришли большевички на нашу голову». Оказывается, в его представлении, во всяком случае так его надо было понимать, жили мы спокойно, не тужили, ну, прямо-таки, тишь да гладь, да Божья благодать, и вдруг, ветром надуло, что ли, нате вам! Именно так, очень ласково, «большевички». Сколько иронии вложено, сколько сарказма! Вот только забывал уточнить, откуда они, эти «большевички», взялись, с Луны, что ли, свалились! Такая вот аберрация исторической памяти.

Или говорить, рассуждая о дальнейшей судьбе здания, что после того, как будет захоронено тело В. И. Ленина, Мавзолей, чтобы вы думали, надо трансформировать, переоборудовать в музей, да не просто в музей, а сделать из него Музей — Мемориал жертв политических репрессий. Такой залихватски смелой идеей поделился уже другой видный церковный

деятель, иерарх высокого уровня. Перенести останки, перезахоронить тело. Понятно, что рано или поздно это произойдет. Здание трансформировать, здание закрыть, здание открыть. Надо, наконец, перестать ломать копыя по этому поводу, жить в логике какого-то нескончаемого безумного конвейера, политических разборок, какая-то чехарда аргументов за и против! А может быть, хватит?! Пора уже перестать ковырять рану бесконечно долго, ну, реально, до бесконечности. Что это, желание попиариться на этой щекотливой и острой теме, или, не дай Бог, принять посильное участие в политических играх?! Или, что еще хуже, последнее предложение, кто знает об этом доподлинно, тянет на политическую провокацию?!

«Пожар способствовал ей много к украшению!» Наполеоновское нашествие! Двенадцать языков! Именно о нем у классика. Новой старой столице за ее многовековую историю довелось пережить очень много, всякого разного. Век двадцатый не стал в этом смысле для Москвы исключением.

...Москва Златоглавая, сорок сороков, где это все? Почти идиллическая картинка, как далеко все это в прошлом, даже если кому-то и очень хотелось называть ее «большая деревня», она, Москва, всегда сохраняла свой шарм. Потом на столицу обрушился шквал урбанистических идей и предложений самого разного толка. И технический прогресс во всех его проявлениях не обошел и ее стороной.

Радио во всех его видах: мощные репродукторы на улицах, на столбах, и радиоточки, скромные тарелки в домах. Такое впечатление, что они никогда не выключались. До появления у многих ламповых приемников, если только это не был привезенный с фронта трофей, до телевидения, а уж тем более до появления и в какой-то момент триумфального воцарения все и вся заполонивших собой транзисторов. Всеохватность! Они вещали практически из-под каждого куста: пойти на свидание «без закадычного друга», об этом не могло быть и речи, подруга уж точно юмора не оценит...

Кинопередвижка, звук и картинка в одном флаконе, ожидание этого чуда, когда привезут «фильму»... Вот она, подлинная, настоящая удаленка, не чета нынешней, ждали и готовились по серьезному: одни запасались семечками, другие — самосадом. У каждого жителя сельской местности был свой собственный экологически чистый продукт! Забирает конкретно! В этом мне самому довелось убедиться во время работы в студенческом стройотряде в Красноярском крае. Некоторые несознательные личности, известное дело кто, мужики, конечно, успевали до начала показа всласть затянуться, скрутив самокрутку, ее называли еще козья ножка. Здесь для этой цели очень кстати подходил кусок газеты. Вот она — цена печатного слова! Папиросы или сигареты — роскошь, и по цене не каждый их мог себе позволить, а где-нибудь в глубинке, кроме всего прочего, не самый ходовой товар. И перед началом демонстрации самой картины неперенный атрибут/элемент, правильно, угадали: киножурнал «Новости дня», 4–5 сюжетов общей продолжительностью 10–12 минут. При этом так или иначе упоминалась Москва, видовой ряд, уже начиная с заставки — Кремль, Соборы во всей своей красе, Большой Кремлёвский Дворец (БКД). Картинка, так или иначе, знакомая всем. И новости, как правило, опять же связанные с Москвой. Формировался, отнюдь не вдалбливался, настоящий культ новой старой столицы. Москва стремительно менялась, процесс этот был неизбежен и до какой-то степени объясним. Кино тоже работало на этот новый образ города. Тут можно, с полным основанием, вспомнить один из самых любимых фильмов у зрителей тех лет, «Свинарка и пастух». Получается, что помимо харизматичных героя и героини и романтической истории зародившегося между ними чувства, в киноленте зримо, во всей своей полноте и очаровании присутствует еще один герой. Ведь место действия — город Москва. Так и получилось на самом деле, что исподволь глав-

ным героем фильма и стала столица, Москва: «И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Город на самом деле тысячами нитей связанный с жизнью всей страны: казалось бы, где Сибирь и где Дагестан?! Хоть в верстах, хоть в километрах.

Другой феномен Москвы, она привлекала и продолжает привлекать. Людские волны в разное время и в разных масштабах накрывали столицу. И хотя рыбные обозы из северных краев, казалось бы, перестали быть актуальными, это уже давняя история с оттенком исторической легенды, а ведь выходец из тех краев, с русского Севера, из Архангельской губернии, русский гений Михайло Ломоносов, связан с Москвой не меньше, чем другой титан, «наше все». Кстати, Александр Сергеевич Пушкин — уроженец Москвы, очень тепло относился к ней, а она продолжала и продолжает притягивать к себе людей, самых разных, движимых самыми разнообразными побуждениями. Мотивация, как правило, всегда индивидуальна, даже в рамках тенденции или, как теперь любят выражаться, тренда, тех или иных предпочтений, если речь о моде.

«Я покажу тебе Москву, поскорей приезжай!» По факту в Москве самые красивые девушки, вовсе не в Париже и не в Риме. Ни Боже мой! Ехали в столицу учиться девушки и из ближнего Подмосковья — Королёв, Шатура, Запрудня, Дмитров, и не только. Из ближайших областей — к примеру, Липецкой, Воронежской, Владимирской, да практически отовсюду, хотя во всех областных центрах уже давно существуют свои университеты. И составляли серьезную конкуренцию коренным москвичкам. Убыль мужского населения в силу естественных или иных причин была более заметной, это о нехватке женихов.

Демографические тенденции и процессы имеют под собой иногда достаточно простое объяснение, вполне естественную подкладку, в том числе и романтического свойства. Так и хочется вернуть модное словечко ориентация, вот только в другом, более привычном значении. Самый надежный — получить образование, но не самый простой, или выскочить замуж. Тут и качество образования в столице, и его реноме, речь ведь не только об МГУ, но и в целом. А может действительно и выйти замуж, если повезет, и то и другое вместе, сразу, одновременно. А уж там, как Бог судил! Наверняка, подспудно приходили и такие мысли: о том, что, а вдруг повезет и встречу своего суженого, ведь никто не может сказать, как это случится, когда, где и при каких обстоятельствах.

Москва всегда была многонациональным городом. Сразу после войны дворниками в Москве, так уж было заведено, Бог весть, почему, были по преимуществу татары. Дворы были чистыми, ухоженными. А на улицах достаточно часто встречались будки, в них работали айсоры, так называли ассирийцев, у них можно было почистить обувь, и не только навести глянец, но и даже сделать мелкий ремонт обуви, буквально на ходу, назывался этот специалитет холодный сапожник. Они были объединены в свою артель.

Апрель 1961 года — удивительное время, удивительные события, неподдельное воодушевление, полный восторг! Москва встречает первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Как же нам, мальчишкам, не поучаствовать в этом событии?! Без нас точно никак не обойдутся. Мы, это пятеро учеников 7-го класса средней школы в Тушино. Директор школы запретил всем ехать вместо уроков в центр города, чтобы принять участие во встрече. Директор знал о нашей бесшабашности, он справедливо решил, что нам нечего там делать, что из-за ожидаемого столпотворения нам все равно не удастся удовлетворить наше любопытство, и что нам все равно не удастся туда, на Красную площадь, просочиться. Здравый смысл, и наверняка, указания/инструкции районо определили отношение: запрет категорический, строго-настрого, вызов родителей в школу и другие страшные кары. В общем, жуть во мраке! Что у нас? Максимализм, самонадеянность! Как мы думали, толь-

ко нам одним был известен проход со стопроцентным результатом, как же. На выходе из метро Площадь Революции надо повернуть направо, тут же небольшой проход, подъем, что-то вроде лестницы наверх, и ты на Никольской, а там уже буквально в двух шагах Красная Площадь. В этот раз путь нам преградила железная решетка высотой 3 метра. Конечно, перемахнуть ее нам было раз плюнуть, не вопрос. Она бы нас не остановила. Недаром же мы занимались в детско-юношеской спортшколе. Но с другой стороны решетки, скажем так, неподалеку, торчал внушительного вида страж порядка. И не один — уговаривать было бесполезно. Там же неподалеку наблюдался, что это они все на нас тогда ополчились, и многочисленный, во всей своей красе, уже целый наряд милиции. Милиция сработала на опережение. Так, кажется, это называется. На следующий день в школе огребли по полной, можете себе представить, но ощущение праздника, общий восторг никуда не делись, запомнились надолго, если не навсегда.

(Публикуется с сокращениями, журнальный вариант.)

Прозаик, поэт. Родился в 1976 году в Москве. Окончил Государственный университет управления (1998) и Высшую школу Европейских культур (2002). С 2004 по 2018 год жил и работал в городе Регенсбург в Германии. С 2019 года проживает в Москве. Пишет в жанре «миниатюра, афористика». Член Московского союза литераторов и Московского клуба афористики. Автор трех книг афоризмов. Лауреат многих литературных конкурсов.

АФОРИЗМЫ

МИЛЛИАРД НЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЛОЧИ

* * *

Бриллиант совершенен, когда одна грань в нем не отточена, ибо в этом случае он получает незавершенность, которая и есть бесконечная гармония.

* * *

Будь мудрее и станешь добрее.

* * *

Будь солнцем — и под тебя не подкопаются.

* * *

В жизни важны две вещи: вовремя простить и вовремя попросить прощения.

* * *

В любви всегда проигрывает тот, для кого любовь — игра.

* * *

В очевидном сомневайся вдвойне.

* * *

Во время пути меняемся и мы, и цель.

* * *

Время идет, не замечая исторических тупиков.

* * *

Все великие события истории происходили при странных обстоятельствах.

* * *

Все проблемы начинаются с нежелания быть гибким.

* * *

Гений — это человек, который умеет быть счастливым.

* * *

Дай дураку рыбу — он будет сыт, дай дураку удочку — он ее сломает.

* * *

Дежурные смс-ки от мужчин — подтверждение пустоты отношений.

* * *

Думал, ты играл, а оказалось, тобой играли.

* * *

Дурак — это не про ум, это про отношение к жизни.

* * *

Дурак всегда зайдет не в ту дверь.

* * *

Дурак думает, что если не считать деньги, их станет больше.

* * *

Дурак отвечает, даже, если его не спросили.

* * *

Душа мельчает, если не страдает.

* * *

Если будешь фигурой, не удивляйся, когда тебя снимут с доски.

* * *

Если поезд ушел, это еще не значит, что твое место на вокзале.

* * *

Если познакомившись, ты не разговаривал о книгах, вы остались незнакомцами.

* * *

Если придаться не к чему — тогда просто похвали.

* * *

Если смог найти путь, значит сможешь его пройти.

* * *

Если смычок не полюбил скрипку — фальшивых нот не избежать.

* * *

Если столкнулся с трудностями, оттолкнись от них.

* * *

Если тебе судьба не улыбается — рассмеши ее.

* * *

Если что-то не сбывается — это к лучшему.

* * *

Есть вершины, которые опаснее ям.

* * *

Женщина дурака делает беднее, а умного — богаче.

* * *

Женщина никогда не расстанется с капризом, а мужчина — с заблуждением.

* * *

Жизнь — результат странного сращивания мысли с материей.

* * *

Жизнь — это вечный поиск компромисса между недостатком и пресыщением.

* * *

Жизнь не делает резервных копий для восстановления справедливости.

* * *

Жизнь человека — это лабиринт, в котором он пытается найти выход к счастью.

* * *

Жить надо так, чтобы потом не было стыдно за бесцельное ведение социальных сетей.

* * *

Замени слово «работа» словом «занятие», и жизнь станет в кайф.

* * *

Здоровые отношения напрямую зависят от дружбы с головой.

* * *

Из всех дорог, которые мы выбираем в жизни, я выбрал бездорожье.

* * *

Иногда, чтобы найти место в жизни, надо проехать свою остановку.

* * *

Когда все сходится — ищи подвох.

* * *

Красивые женщины — это волна, настроившись на которую, легко и захлебнуться.

* * *

Кто долго идет по краю — впадает в крайности.

* * *

Легкая жизнь только у бабочки-однодневки.

* * *

Лицо фальшиво, искренней быть может только морда.

* * *

Лучше быть маленькой частью чего-то большого, чем большой частью чего-то маленького.

* * *

Лучше недораскрыть свой потенциал, чем лопнуть, — говорил воздушный шарик.

* * *

Любовь к женщине — это болезнь, которую не стоит доводить до хронической.

* * *

Маленькие деньги зарабатываются тяжелым трудом, крупные деньги — большой ответственностью.

* * *

Менеджеры по работе с клиентами делятся на две группы: одни любят людей, а другие вынуждены терпеть этих сволочей.

* * *

Меняя вечное на временное, теряешь и вечное, и временное.

* * *

Мир создан, чтобы совмещать несовместимое.

* * *

Многие девушки не понимают, что, когда они носят очень красивую одежду, их даже не хочется раздевать.

* * *

Мудрецы спорят шепотом.

* * *

Мы думаем, что мы меняем судьбу, на самом деле судьба меняет нас.

* * *

Мы начинаем углубляться, только попав на мель.

* * *

Наглые морды обычно считают себя важными лицами.

* * *

Начнешь каркать, все проворонишь.

* * *

Не верь курице, если она говорит, что у нее друзья — орлы.

* * *

Не жалея, если поезд ушел, возможно, он уехал в тупик.

* * *

Не знаешь, как, где и куда — выйти из потока.

* * *

Не понял, где спотыкнулся — в следующий раз упадешь.

* * *

Не спеши относить мечты к несбывшимся.

* * *

На псарне всегда найдутся те, кто считают себя волками.

* * *

Не ставь другим планку, которую не можешь взять сам.

* * *

Нерешительность увеличивает количество неверных решений.

* * *

Никогда не фальшивит только барабан.

* * *

Обстоятельства — не цифры, чтобы логично складываться.

* * *

Одежду надо подбирать по карману.

* * *

Осмысленное страдание лучше бессмысленного удовольствия.

* * *

Перед тем, как переходить на следующий уровень, проверь, а твой ли это путь.

* * *

Перчатки — это эволюционировавшие варежки, — говорил Дарвин.

* * *

Плох тот нос, который не чувствует опасность.

* * *

Повезло с учителем — повезет со всем остальным.

* * *

Подлинная история — это когда небылицы кажутся былью, а быль кажется глупостью.

* * *

Получив два высших образования, не станешь в два раза умнее.

* * *

Попался в яму — переверни мир, окажешься на горе.

* * *

Просто не надо, и сложно не надо, надо любя.

* * *

Реальная версия себя обычно не самая смешная.

* * *

Сделав женщину своей игрушкой, не заметишь, как станешь ее игрушкой сам.

* * *

Сейчас время бессмысленных удовольствий и осмысленных извращений.

* * *

Сердце диктует стратегию, мозг — тактику.

* * *

Сильно обижаются только слабые люди.

* * *

Сколько с эхом не спорь, последнее слово за ним.

* * *

Слово извращает истину, но без слов нельзя, а без истины можно.

* * *

Срезая углы, удваиваешь их количество.

* * *

Суди о человеке по тому, на какие грабли он наступает.

* * *

Теория — магнит для подогнанных под нее фактов.

* * *

У каждого свой потолок, и, если его не знать, можно расшибить голову.

* * *

У успеха три составляющих: план, цель и радость.

* * *

Умеют же люди хвосты прятать, — подумала обезьяна.

* * *

Умная женщина тянет мужчину вверх, а глупая — в никуда.

* * *

Умный подаст пример, дурак подаст совет, а мудрый промолчит.

* * *

Умный покупает то, что дорожает, дурак — то, что обесценивается.

* * *

Хочешь, чтобы твоя жизнь стала великим романом — что-то обязательно должно пойти не так.

* * *

Что бы ты ни делал — ты ищешь любовь.

* * *

Чтобы тебя один раз услышали, надо семь раз промолчать.

* * *

Шире всего распахнуты двери в тупик.

* * *

Этап наполнения плавно переходит в этап опустошения.

* * *

Я бы вляпался, да больно вокруг чисто.

ПОЭТ. РЕДАКТОР. РОДНАЯ ДУША

11 февраля 2024 года ушла из жизни поэт, литературовед, педагог, радиожурналистка и режиссер, главный редактор журнала «Нева», председатель жюри премии «Писатель XXI века» Наталья Анатольевна Гранцева.

Это, без преувеличения, огромное горе для всей русской литературы и для меня лично. Мы дружили много лет, практически во все приезды Натальи Анатольевны в Москву и в мои в Санкт-Петербург встречались и беседовали на всевозможные темы. Мы были единомышленники. Так иногда (очень редко!) происходит в жизни — в зрелые годы встречаешь родную душу...

Наталья Гранцева была многогранно одаренным человеком — талантливым поэтом, исследователем литературы, специалистом по Шекспиру и Ломоносову, редактором, организатором литературного пространства, членом жюри различных премий.

В оргкомитете премии «Писатель XXI века», в который меня избрали координатором, мы работали вместе почти 10 лет.

Наталья Анатольевна всегда подчеркивала, что нужно, прежде всего, поддерживать молодых авторов.

— Ну раз уж у нас премия «Писатель XXI века», то сам Бог велел нам выдвигать тех, кто прославит век нынешний! — говорила она.

Именно по ее инициативе мы наградили талантливого поэта из Курска Романа Рубанова.

Она всегда приезжала на церемонии награждения в Москву, в ЦДЛ, приезжала буквально на несколько часов и сразу же уезжала домой, в Санкт-Петербург. График у нее был очень насыщенный и напряженный.

Все мои настойчивые попытки оплатить ей хотя бы проезд ни к чему не приводили. Щепетильность у нее была удивительная — какая-то дворянская, из XIX века.

Служила литературе она бескорыстно и самоотверженно.

Накануне нового 2024 года она написала мне письмо и предложила встретиться в Москве — она участвовала в Подмосковье как руководитель семинара в совещании молодых писателей.

Мы встретились на Ленинградском вокзале и долго беседовали, как всегда, на всевозможные темы.

Она спросила:

— А Вы помните, как мы познакомились?

Я ответил:

— Конечно, помню. Нас познакомил поэт Валерий Дударев, Царствие ему Небесное.

Она прокомментировала:

— Но я и раньше Вас, конечно, знала. Заочно. По одной телевизионной передаче.

Она назвала эту передачу...

— Мне понравилось, как Вы отвечали на провокационные вопросы журналистов...

Я напряг свои не совсем восстановившиеся после ковида мозги и не мог вспомнить, когда я участвовал в этой передаче. Да и участвовал ли вообще?

Но ничего не стал говорить Наталье Анатольевне. Не хотел ее расстраивать — если бы я сказал, что не помню этого, она бы расстроилась из-за состояния моего здоровья.

В кафе, на вокзале, мы, как всегда, пили кофе. Она — маленькую чашечку...

Я подарил Наталье Анатольевне новые книги своего издательства, нашу газету «Литературные известия» и баночку красной икры. Еле-еле уговорил ее принять этот скромный презент. Она ворчала:

«Ну что Вы, Евгений Викторович, это же очень дорогой подарок!.. Ну ладно, возьму. Спасибо большое. Это будет украшением моего праздничного новогоднего стола...»

А мне она тогда сделала действительно царский подарок — номер журнала «Нева» с публикацией моих рассказов.

Н.А. Гранцева была почвенником, патриотом своей страны, мудрым и прозорливым человеком.

Однажды сказала мне:

— Только враги России хотят видеть наше государство в пределах Московского княжества. За что же тогда боролись наши предки?!

Эта тема ее всегда сильно волновала.

Я счастлив, что Наталья Анатольевна каждый год приглашала меня опубликоваться в «Неве». Я, коренной москвич, постепенно становился петербургским автором...

Она относилась к литераторам в высшей степени внимательно и доброжелательно. Но при этом была очень строгим редактором.

Меня она часто критиковала, говорила мне, чтобы я больше времени уделял именно литературной работе, а не тратил себя только на издательскую и общественную деятельность.

При этом — повторю — постоянно меня печатала. И стихи, и прозу, и литературные заметки, и ответы на вопросы проводимых ею замечательных просветительских блиц-интервью, посвященных тому или иному писателю-классику или историческому событию.

Я очень старался оправдать ее — именно ее! — доверие. Работал над стихами и прозой. Многие стихи переписывал.

Моя основная книга стихов «Младший брат травы», которая вышла в прошлом году, посвящена самым близким моим людям, в том числе Н.А. Гранцевой. Она успела ее прочитать.

Во время нашей последней встречи, там, на Ленинградском вокзале, Наталья Анатольевна сказала:

— Книга хорошо составлена. В ней много стихов, которые я люблю. Ничего не скажешь — мастер... Это точно заметил еще Лев Аннинский. И я рада, что в книге много новых стихов. Я специально посмотрела по датам. Слава Богу! Значит, Вы восстановились после смерти жены и после ковидной больницы. Значит, интерес к жизни опять появился.

Мы строили планы на будущее. Она — по моей настойчивой и многолетней просьбе — составляла для нашего издательства книгу своих стихов.

Договорились также, что я сниму документальный фильм про юбилей «Невы».

— Приезжайте в Питер как потеплеет, ближе к майским праздникам, — предложила Наталья Анатольевна.

Так и решили делать.

Я проводил ее до вагона поезда, и мы трижды на перроне обнялись. Очень тепло и сердечно. Как никогда — раньше.

Только сейчас я понимаю: она со мной прощалась навсегда.

У нее было много учеников. И осталось много литераторов, которым она помогала, поддерживала своим вниманием и заботой. Но при этом она оставалась честной перед людьми. Не называла черное белым, не заводила любимчиков. На первом месте всегда был — текст. Качество текста.

...Мне рассказывали участники Липок, как она вела семинары. Сурово всех разбирала, критиковала, указывала на недостатки, показывала пути их устранения, но именно она и давала слово молодым. Печатала. А это для писателя — главное. Писать и печататься. Эволюционировать. Добиваться — от самого себя — максимального результата. Добиться его.

Она руководила 17 лет в качестве главного редактора «Невой» и подняла уровень журнала на очень высокую планку.

Все время что-то улучшала, постоянно привлекала к сотрудничеству новых авторов, не забывала прежних.

Очень хотела платить всем нам гонорары. Выкраивала крохи из скромного журнального бюджета.

Однажды заплатила мне за повесть две тысячи рублей.

Эти две тысячи были для меня очень дороги. Прежде всего, в символическом плане.

В последние годы я получал гонорары только в двух изданиях — в «Неве» и «Урале». Конечно, две тысячи не самые большие деньги. Но сам факт, что твои сочинения хоть что-то да стоят, не может не греть душу.

И я про эти две тысячи никогда не забуду.

Бесчисленные хозяйственные, организационные дела, конечно, занимали много ее драгоценного времени. Но все-таки творчество было на первом месте. Она смогла реализовать-ся в полной мере и как литературовед, и как поэт.

Мне особенно дороги ее стихи.

Развивая Некрасовские традиции русской поэзии, Наталья Гранцева писала:

Они воздвигли города,
Воспели подвиги и стройки,
И умирать пришли сюда —
Под сень контейнера, к помойке.

Был Беккет прав — конец игры,
Жизнь, как бездомная собака,
Ее духовные миры,
Не глубже мусорного бака.

Вот милосердье — в смрадной мгле:
Прогорклый хлеб и вздох окурка,
И на бутылочном стекле
Слепящий отблеск Петербурга.

Поэт (прошу прощение за трюизм, но здесь по-другому не скажешь) — зеркало общества. И не может делать вид, что живет в «королевстве кривых зеркал». И не может не отражать то, что есть. Соединяя прозу (показательна лексика: «бездомная собака», «окурка», «не глубже мусорного бака») и высокий поэтический стиль — «духовные миры», «слепающий отблеск Петербурга», Гранцева показывала обнаженную и кровоточащую дуалистичность мира и — через локальный текст — «сканировала» в целом состояние общества. Или — даже шире — состояние цивилизации. Но тут очень важно не перейти тонкую грань жанров. Одно дело — написать рифмованный фельетон (что, на мой взгляд, вряд ли имеет отношение к подлинной поэзии), другое дело — создать суггестивное гражданское стихотворение, затрагивающее социальную проблематику (что делала Наталья Гранцева).

Стихов гражданского звучания у нее немало. И немало пронзительной, трепетной лирики.

Я точно знаю, что еще придет время, когда читатели осознают масштаб дарования Натальи Гранцевой.

Вечная светлая память!

Аминь.

Евгений СТЕПАНОВ

АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА: ТРАГИЧЕСКОЕ СОЛО

Анастасия Романовна Харитоновна (1966–2003) — поэт, эссеист, драматург, переводчик. Член Союза писателей Москвы. В 1990 году окончила с красным дипломом Литературный институт им. А. М. Горького. Золотой лауреат Международного поэтического фестиваля «Poeta-1992», проходившего в Италии, в городе Салерно. Автор 12 поэтических сборников, шести пьес и нескольких эссе. Иллюстратор собственных книг.

Знавшая наизусть Библию и «Гамлета», Анастасия Харитоновна свято верила в силу Слова: «Я слышу, как склоняется Земля, / Когда на ней спрягаются глаголы...». Она с юных лет привлекала внимание знатоков и ценителей поэзии своим выдающимся талантом — уникальным по тонкости чувствования. Первые четыре сборника ее стихов запросила Библиотека Конгресса США, а Колумбийский и Йельский университеты внесли поэтессу в свои каталоги.

Анастасия Харитоновна делала переводы с немецкого, английского, латыни, итальянского, польского, французского и чешского языков. Сделанный ею перевод с польского философских стихов Папы Римского Иоанна Павла II в феврале 1998 года экс-президент РФ Борис Ельцин преподнес понтифику в качестве подарка во время своего визита в Ватикан.

Потрясения, происходившие в стране с конца 1980-х и до начала «нулевых», трагическим мотивом отразились в творчестве поэтессы: каждая ее стихотворная строка словно заклинала остановить надвигающуюся на страну катастрофу. За эту способность предчувствовать критик Владимир Лакшин назвал ее ясновидящей. Поэт Евгений Винокуров также ценил стихи Анастасии Харитоновой за ясность ощущения «трагической подосновы мира», а Игорь Волгин писал о ней: «Свобода дыхания — не только качество текста. Это качество самой ее поэтической души». Анастасия Харитоновна трагически ушла из жизни в возрасте 37 лет. В подборке представлены ранее не публиковавшиеся стихотворения, датированные 1991–2003 годом.

Марианна РЕЙБО

И РУССКИЕ СТИХИ В МОЕЙ ТЕТРАДИ

* * *

Толпа бесчинствует. Отчизну не спасти.
О, сколько раз нам это повторяли!
Отцы империи, хоть вы и не в чести,
Но, право, ничего не потеряли.

Вы и сегодня подлостью сильны,
Вы и теперь ужасны, как проказа.
И ныне дети гибельной страны
Не спят над азбукой доноса и приказа.

У нас похищены и совесть, и судьба.
А то, что живо в нас, еще земле незримо.
И страшный, развращенный сын раба
Встречает сумерки разграбленного Рима.

18.07.1991

* * *

В гудящем, снеговом аду
Толпятся люди, брови хмуря.
Но ангел ясную звезду
Ладонями прикрыл от бури.

Она горит — поверх знамен,
Поверх грядущих преступлений,
Горит, горит поверх имен
Трех обреченных поколений.

Нам не избыть своей вины,
От распри не уйти кровавой.
Гори, звезда, поверх войны,
Овеянная божьей славой.

Мы чашу скорби пьем до дна,
А небеса грозят расплатой.
Но ты, звезда, гори одна,
Свети стране моей распятой.

23.02.1993

2000–2003 гг.

* * *

Пусть голодом врывается свобода
В мороз и тьму двух грозовых столиц.
Пусть с ужасом Европа ждет исхода
Измученного, нищего народа,

Я жду всего лишь перелета птиц.
Они с весной Россией заболеют
И возвратятся из далеких стран,
И небеса от крыльев побелеют,

И закурлычет журавлиный стан,
Вплывая стройно в утренний туман.
Ну а пока — такая тишина,
Что надо всей державой необъятной,
Над всей моей землей безблагодатной —
Золой где тлеет смута и война —
Одна молитва детская слышна.

* * *

Их одежды похожи на конские гривы,
Белые, с мертвой звезды.
Они спокойны и молчаливы.
Они несут нам огонь беды.

Кумиры бывшего глядят им вслед,
Свалены друг на друга.
Что для России тысяча лет?
Ветер, туман да выюга.

А призраки сожгут города,
Карая новых вандалов.
Лучше не сбрасывать никогда
Статую с пьедесталов.

* * *

Полночь. Зима. На дворе еле-еле
Старые различимы ели.
На ветках — серебряные огни.
Чего нам желали? О чем нам пели?
Память, усни.

Нам уже никогда не встретиться,
И плечи мои поникли.
А вы видали, как горе светится,
Пока к нему не привыкли?

* * *

Хоть на три часа заснуть бы,
На кровать упасть ничком,
Позабыть, что наши судьбы
Стали черным топляком.

А над нами время плачет,
Мое глину берегов,
Мутная звезда маячит,
Бродят кони без подков.

И младенцев большеротых
Бабы кутают в платки:
Это будущие роты,
Это взводы и полки.

И пойдут они стеною
По полям печатать шаг,
Чтоб над кровлею родною
Снова взвился чей-то флаг.

Вера истины дороже.
Значит, опыт нам не впрок.
Принимаю, вечный боже,
Твой завет и твой сапог.

* * *

Хлебную луну птицы расклюют,
Ну а пока она висит себе в окне.
Тут неуют, там неуют.
Где же уют? Может быть, во мне?

Жить не могу, думать не могу.
И уж тем более не могу мечтать.
Стану говорить — тебя оболгу.
В молитве себя боюсь оболгать.

Вот и маюсь я, как примерный маятник,
До самого крика шальных петухов.
И чернеет стол — незавидный памятник
Или простое надгробие для стихов.

* * *

Ты вновь отходишь, уезжаешь...
В какую мглу? В какую даль?
Но что со мною! Знаешь, знаешь,
Мне, кажется, тебя не жаль.

Брожу, немного плечи горбя,
Занятий будничных ищу,
Но нет во мне живящей скорби,
Чтоб зарыдать: «Не отпущу!»

Шиповник трогает мне руки
Губами в утренней росе.
Не больно сердцу от разлуки
В краю, где одиноки все.

* * *

Ты говоришь мне, что жить на Руси позорно —
Чести закон жесток.
Но ведь и в землю бросают живые зерна,
Чтобы взошел росток.

Все повидавшим, что видеть нельзя человеку,
Нам ли теперь умирать...
Руки пустые протянем навстречу веку —
Нечего отбирать.

* * *

Сегодня во дворе белым-бело.
Такие чудеса творит метель.
Где жизнь моя, где песни? Все прошло.
И ты, мой друг, за тридевять земель.

Хочу тебе писать — и не могу.
И долгод, долгод вечер без огня.
Теперь я знаю цену очагу,
Которого не будет у меня.

* * *

Не зарекайся от сумы и от тюрьмы.
А я не зарекаюсь от веревки.
Несносны вихри северной зимы
Мне, сумасшедшему поэту-полукровке,

И русская любовь, хмельная от вина,
И визги скомороха в балагане,
И вечная вселенская вина,
Которую терзаются славяне.

Несносно мне, невыносимо мне!
Помилуйте, избавьте, бога ради!
Но тот же русский снег в моем окне
И русские стихи в моей тетради.

* * *

О родина! Богопротивный дом,
Где по закону — камня бы на камне...
Но признаю со скорбью и стыдом,
Что ты превыше жизни дорога мне.

Ты не страна — державная мечта,
Пьянящая жестокие просторы.
Над бездною твоею немота
Оковывает ангельские хоры.

Ты храмы строишь только на крови,
И небеса полны вороньим граем.
Мы, дети окаянные твои,
В дрожащий сумрак руки простираем.

С твоей судьбою слит и наш удел:
Мы это помним и гордимся этим.
Сообщники твоих кровавых дел,
Всем и за все с тобою мы ответим.

* * *

Меня научила сама судьба
Стыдиться крыльев могучих,
Как горбуны стыдятся горба —
До слез потаенных, жгучих.

И гибель чувствовать наперед
В ночи грозовой и угарной
Меня научил мой бедный народ,
И я ему благодарна.

* * *

В увитом темным шиповником такси
Я летела над ночною Москвою
И просила шофера: «Скорей отвези,
Отвези меня к вечному покою».

И в ответ сказал мне шофер такси:
«Сто долларов мне заплати.
Иначе свезу тебя в край тоски,
Нарочно собьюсь с пути».

Тебя напоят там горчайшим зельем,
Накинут черную шаль».
Я сказала шоферу: «Возьми свою зелень.
Мне ее нисколько не жаль».

И так мы летели до самой зари,
И гасли в городе фонари.
А я приближалась к жизни другой,
Которая — вечный покой.

* * *

Державы нищей бездорожье.
Вьедающийся в сердце стыд.
Поэты — тоже дети божьи,
Но бог потерял и забыл.

Мы заняты привычным делом,
Не замедляясь, не спеша.
О, это белое на белом! —
Листок бумаги и душа.

* * *

А над городом — снег пеленой.
Всюду холодно и уныло.
Это было когда-то со мной,
А потом и со всеми было.

Никому мы теперь не нужны,
Дети горькой, пропащей России.
И глаза у одних — темны,
А глаза у других — пустые.

* * *

Сквозь траурное кружево ограды
Мне виден зябкий, обнаженный сад.
Ложится снег на полукруг эстрады
И осыпает легких стульев ряд.

Три фонаря неласково горят.
Но мы ничем не дорожим на свете.
Что нам до летних призрачных забав,
Мы спим в пустынном веке, словно дети,

Вольготно, сладко, руки разбросав.
И скоро, скоро будет ледостав...
И ничего душе моей не надо,
И ничего не ведает она,
В мерцающем тумане снегопада,
Дремотной стужей медленной полна,
Людьми забыта, богом прощена.

* * *

Ступай-ка в постель. Перед сном не молись.
Не впрок это дело иным.
Так наши моления к богу рвались,
Что сделалось небо сквозным.

И мы доживаем под кровлей худой
Короткий, потерянный век.
Весной умываемся талой водой,
Зимою ложимся на снег.

Раздетой души не укроешь плащом.
Томят ее стужа и страх.
Живой не умеет просить ни о чем.
У мертвого — персть на губах.

* * *

Слова звучат безжалостно, нестройно.
Тревожный голос яростью звенит:
Кто любит жизнь, как жизнь того достойна,
Не выдержит ее, не сохранит.

Тут повелось ломать и то, что гнется,
Из дрожи гнать во прах, из праха в дрожь.
И кто при казни друга содрогнется,
Тот сам себе найдет петлю иль нож.

Душа цела, пока ее не видно.
Тут чувствовать нельзя живую плоть,
Иначе изолжешься так постыдно,
Так мерзостно, что упаси господь.

И стоило ль на свет являться, чтобы
Забрызгать кровью два небытия?..
Не лги, безумец! Прочь, исчадь злобы!
Молчи, пророк. Здесь родина моя.

* * *

О боже, и я была с теми,
Кто шел в обреченном строю,
Кто сгинул в атаке на время —
В бессмысленном, страшном бою.

И не было райского пенья.
И не было рокота тьмы.
Лишь ангелы в недоуменье
Глядели, как падали мы.

* * *

А что — земля?! Какая вам тревога!
Или добром хотите помянуть?
Напрасно. Ни истории, ни бога.
Тюрьма да пашня — ветреная жуть.

Всесильные во временах воспетых,
Ее вожди черно и жадно спят,
Вплывая на заснеженных лафетах
В зияющую славу и распад.

Метель над ними крылья простирает,
И бесприютен свет ночных огней.
Моя Россия грозно умирает,
Чтобы воскреснуть во сто крат страшней.

* * *

Певец великий смолкнет навсегда,
Отблещет, отгрохочет слава мира.
Уснет под русским снегом на года
Державная пророческая лира.

Но прахом голубым начнет мести
Пурга-красавица по улицам столицы,
И мы, у времени, у славы не в чести,
Опять подыдем сонные ресницы.

В мерцающих клубах густой зимы
Пойдем по следу за звенящим слогом,
И *нужды* нет, что мы — давно не мы,
Что многие изверились во многом.

Пусть с голубями бьется воронье,
Пусть небо черной сталью оперилось,
Мы все равно всегда возьмем свое
В своей отчизне, что б с ней ни творилось.

Пускай, как смерть, мы принимаем гнет,
Пусть мы лжецы, кликуши, оборванцы,
До настоящей музыки дойдет —
И мы ее крылатые посланцы.

***Подборку подготовила дочь Анастасии ХАРИТОНОВОЙ,
прозаик и публицист Марианна РЕЙБО***

НА ГРАНИ МУДРОСТИ И БЕЗУМИЯ: ГРАММАТИКА КОЛОВРАЩЕНИЯ В ЗАКАБАЛЕННОЙ РОССИИ

(130 лет прощальной повести Н. С. Лескова)

ШТУДИИ

*«Встань, если хочишь, на ровном месте и вели поставить
вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что един твой
телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркала
отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш
болван и сам есть едина токмо тень истинного человека.
Сия тварь, будто обезьяна, образует яйцевидным деянием
невидимую и присносущную силу и божество того человека,
коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени».*

Григорий Сковорода

Повесть Николая Семёновича Лескова (1831–1895) «Заячий ремиз» (1894) — одно из наиболее загадочных, зашифрованных произведений русской классической литературы. «В повести есть "деликатная материя", — писал Лесков, — но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший»¹.

Это последнее лесковское творение осталось при жизни писателя не изданным. В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М. М. Стасюлевич — редактор журнала «Вестник Европы», — убоявшись цензуры, отказался печатать повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремениться <...> подвергнуться участи "разгневанного налива" <...> и непременно попадете в архиерейскую уху»².

«*Лебединая песнь*» писателя вылилась под его пером в вековую мечту русского национального сознания о чудесной *жар-птице*. В фольклоре эта сказочная птица олицетворяет волшебное заступничество. В повести Лескова мифопоэтический образ жар-птицы представлен в новом — христианском — контексте понимания и является выражением авторской ценностно-мировоззренческой позиции.

Повесть по-прежнему притягивает внимание, завораживает религиозно-нравственной и философской глубиной. Лесковский текст, основанный на Евангелии, открывает перед читателями все новые и новые возможности для интерпретации и сотворчества. О новозаветной неисчерпаемости глубоко писал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), называвший Лескова в ряду первых классиков, чей «чистый разум» повенчан «с глубиной сердца <...> единством воли и откровений»: «Евангелие не есть только идеальная истина для всякого мира, но и личное, всякий раз неповторимое слово, письмо Бога Живого всякому человеку в мире, — письмо, прочитываемое человеком лишь в меру его духовного сознания»³.

«Заячий ремиз» впервые был издан в 1917 году — «в эти абсолютно нелитературные времена». Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с «белоснежным пшеничным хлебом русской литературы», который получили голодные физически и духовно читатели; «загробный голос Лескова прозвучал со страниц "Нивы" как призывный колокол»⁴.

Важен также первый отклик А. Измайлова: ««Заячий ремиз» — одно из самых больных мест старика Лескова. Написал он его любовно, с огромным захватом, с великолепной своею сочностью <...> Идилличность тона и — рядом — сколько выстраданной злобы Лескова на ложное знание, которое никому не нужно, на старый подлейший режим, когда готовы были упечь учительницу в каталажку за цитаты из Евангелия; на добровольных присяжных сыщиков, готовых продать мир за орден, падающий на перся»⁵.

Смысл заглавия повести, которое самому автору казалось «то резким, то как будто мало-понятным», Лесков в письме к редактору «Вестника Европы» объяснил следующим образом: ««Заячий ремиз», то есть юродство, в которое садятся "зайцы, им же бе камень прибежище"» (XI, 606). К разгадке таинственного названия, возможно, приближают строки письма Лескова к его приемному сыну Б. М. Бубнову <середина сентября 1891 г. >: «<...> "мнимый покой". Зайца обманчивый сон!.. "Именно все это "заячий сон", с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить все, чем владеешь» (IX, 501).

Писатель обращается здесь к фольклорно-мифологической образности: к распространенному представлению о том, что заяц имеет настолько чуткий сон, что спит с открытыми глазами. «Заячий сон» становится воплощением страха и трусости. Кроме того, заячья боязливость объясняется поверьем о том, что у зайца маленькое сердце: «Бог вылепил ему слишком длинные уши, а на сердце глины не хватило»⁶.

Далее в том же письме Лесков развивает мифологический образ «заячьего сердца» в ключе христианской антропологии: созданный «по образу и подобию», человек призван преодолеть в себе животное начало, укрепиться духовно, не роняя в себе «образ Божий», который есть не только *дар*, но и *задание* человеку: «Кажи нам, что есть крепкого, — за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе "Сына человеческого", которого ты обязан "вознести", и других к тому же склонить, и убедить, и "укрепить слабеющие руки"» (IX, 501). Думается, что письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию «Заячьего ремиза».

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остается, что «скрыться» в своем частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и безумия общественного устройства, — а также все, что ведет к расчеловечиванию, «оболваниванию» Оноприя

Перегида, достаточно глубоко изучены. Важнее сосредоточить основное внимание на противоположно направленном изменении «натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к «истинному человеку», то есть божественному началу, внутреннему свету, скрытому тенью «телесного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьшительному» (IX, 502). Однако в герое живо сознание необходимости отыскать и «вознести» «невидимую и присущую силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени» (IX, 501).

Не только эпиграф, взятый из «Диалога, или Разглагола о древнем мире» Григория Сковороды (1722–1794), но и другие христианские идеи этого украинского философа художественно воплотил Лесков в своей повести. Основная из них: «надо идти и тащить вперед своего "телесного болвана"» (IX, 589), — то есть не позволять телесному, материальному, животному началу взять верх над «истинным» — духовным — человеком.

Получив чин в социальной иерархии чинов, будучи направлен в родное украинское село Перегуды в качестве станового пристава, Оноприй Перегуд поначалу пытался в своей полицейской практике выявить истину «по облегченному способу» — при помощи тетрадки «Чин во явление истины», рекомендованной для допросов подозреваемых и составленной таким образом, чтобы даже невинный при таком допросе внутренне устрасался и был «готов сказать: "Винуват"» (IX, 536).

Перегуд фактически занимает ту должность, которая требует вершить «суд правый», однако, будучи сам безмерно далек от уразумения истины, он пользуется неправыми полицейскими уловками, юридической казуистикой: «Вот эта — пожалуйста — вам юристика!» (IX, 537). Такая «юристика» еще более усугубляет всеобщую несправедливость и отдаляет от познания истины. «Болван» Перегуд принимает непосредственное участие в процессе «оболванивания» социально-нравственных основ жизни. При этом совесть его не мучит, он считает себя образцовым блюстителем порядка и являет образчик внутреннего и внешнего самодовольства. Статный, дородный становой самолюбиво восклицает: «Процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!» (IX, 536).

Лишь к финалу повествования герой осознал, что истина является не по официальному прописному «чину» и не в тот момент, когда кто-то немедленно захотел ее открыть. Истина без всяких «чинов» приходит всегда в свое время, и Перегуду она приоткрывается как раз тогда, когда он все свои чины потерял, очутившись в сумасшедшем доме.

Однако если в начале своей государственной службы Перегуд еще имел человеческий облик хотя бы внешне: «был в процветении румяный и полный» (IX, 536), — то, поддавшись искушению службистского честолюбия, окончательно этот облик утратил, превратившись внешне и внутренне в чудовище почти инфернального плана.

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики — «ловитвой потрясателей основ», что «троны шатают», — Оноприй Перегуд перерождается: внутренняя метаморфоза отражается и на внешнем уровне (не раз проходит мотив зеркального отражения — «*зеркаловидной тени*», — заявленный в философском эпиграфе): «у меня вид в лице моем переменялся <...> и стали у меня, як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнаженны... Тпфу, какое препоганьство!» (IX, 546).

Перегуд, ужаснувшийся своему отражению, видит в зеркале именно то, о чем предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей. Это образ колодитный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Лескову: «Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний не обожал <...>, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности» (IX, 521). Священник наставляет: «Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! <...> "Се стражи адов-

ные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свечи потухлы и зубы обнаженны"» (IX, 522). Жуткий образ «адова стража» из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей истории маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доносами, погонями за мнимыми «сицилистами» и «потрясователями основ».

Важно отметить, что портретная деталь «зубы обнаженны» не только атрибут библейского чудовища-аспида — «адова стража», но и зоологическая черта животного облика зайца. В поверьях распространены представления о зайце как существе опасном и связанном с нечистой силой. Перебежавший дорогу заяц сулит несчастье. Известны также былички о зайце-оборотне, наделенном демоническими свойствами, который «бросается под ноги, заманивает в чащу, преследует человека или исчезает в вихре, с шумом, хохотом или звоном»⁷. Именно таков Перегуд в его погоне за «потрясователями».

Так подтекст повести не только снова отсылает к ее названию, но и выполняет функцию трансформации фольклорных и христианских мотивов в идейно-художественной структуре повествования.

С христианской темой непосредственно связан эстетический аспект. В контексте выраженных в «Заячьем ремизе» представлений о прекрасном и безобразном важно подчеркнуть мысль В. И. Ильина, высказанную в его статье о Лескове: «Бог — источник прекрасных форм; быть безбожным — это не только значит быть безобразным, это значит умножать вокруг себя безобразие»⁸.

Перегуд в прямом смысле лишается своей человеческой сущности, окончательно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясатель» — его собственный кучер-орловец Теренька. «О, Боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно» (IX, 581), — горестно сетует потерявший свою личность герой повести.

Свет истины потух для него. Неслучайно настойчиво повторяется портретная деталь — реалистическая и метафорическая одновременно: очи, «яко свечи потухлы». «Светильник для тела есть око, — наставляет Христос в Нагорной проповеди. — Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло; Если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно» (Мф. 6: 22–23).

Перегуд-становой, погружившийся во тьму духовную, безмерно далек от того мальчика — церковного певчего, посвященного в стихари, — каким он был, когда «перед всеми посередь дни свечою стоял и светил» (IX, 523). Теперь он утрачивает божественный свет «истинного человека», окончательно превращаясь в телесного «болвана», темную «зерцаловидную» тень.

В эпизоде с молодой учительницей — «подозрительной» Юлией Семёновной («коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии» (IX, 551)) — Перегуд, дабы разузнать, что скрывают темные очки, просит позволения посмотреть в ее «окуляры» и ведет себя почти как в крыловской басне «Мартышка и очки». В подтексте произведения возникает новое зоологическое уподобление — с гримасничающей обезьяной.

Перегуд начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Священное Писание, которому был учен у архиерея, и попадает в преглупейшее положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» Юлию Семёновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве и бедности. Ее записи, не узнав в них текстов Нового Завета: «забота века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13: 22); «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2: 6) — становой отсылает начальству как донос.

«Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими "волосами", а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят» (IX, 582), — таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует свое прежнее безумие, объясняя его причины «гордыней», «ненасытной жадой славы» и «безмернейшим честолубием» (IX, 543). Другими словами — «он впал в искушение» (IX, 538), забыв слова молитвы Христовой: *«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»*.

Показатель духовного выздоровления — освобождения героя из сетей «бесовского научения» (ловя «потрясателя», он сам был пойман и запутан в «сети», подобно приснопамятному «огорченному налиму») — следующая самооценка Перегуда: «когда я <...> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается ужасно!» (IX, 543). Импульс к освобождению из ужасающих бесовских сетей способствует торжеству истинного человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (IX, 585), — этим замечанием философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней «социальной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее» (IX, 585). В доме для умалишенных на грани безумия и мудрости Перегуд, наконец, начинает путь приближения к истине. Теперь он избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой все было скрыто мраком, перемешано (точнее — *помешано*). Герой постигает добро и зло в чистом виде. У него «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда "в болото" и там высидивает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы» (IX, 588).

Эпизод на «болоте» не поддается однозначным и прямолинейным истолкованиям. Неслучайно Лесков, предлагая «Заячий ремиз» для публикации в журнале «Русская мысль», предупреждал о том, что в повести все «тщательно маскировано» (XI, 599).

Следует иметь в виду, что писатель и его герой великолепно знают фольклор, окружены им как элементом духовной и бытовой атмосферы. «В устных преданиях, — отмечал Лесков, — <...> всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности», «в младенческой наивности» есть «оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувства»⁹.

На первый взгляд, было бы достаточно простого указания на прaosнову фольклорного образа и связанных с ним мотивов. Однако в повести Лескова имеет место процесс творческого усвоения и созидательной переработки фольклорного материала в свете религиозно-нравственных представлений писателя.

Мифопоэтическая парадигма образа жар-птицы включает в себя целый комплекс семантических и художественных мотивировок. Устойчивая роль жар-птицы в славянском фольклоре — служить чудесной помощницей, доброй волшебной силой, побеждающей потусторонние силы противников рода человеческого, разрушающей враждебное человеку пространство. В эстетике чудесного золотой окрас оперения жар-птицы — величина постоянная — и это не только синоним огненности. Этот непереманный атрибут связан с тем, что «птица прилетает из другого, («тридесатого царства»), откуда происходит все, что окрашено в золотой цвет»¹⁰. Это «золотое», «иное царство» в народном сознании, помимо чудесного, имеет также социально-бытовое наполнение: символизирует безбедную жизнь, материальный достаток. Именно из золотых чертогов происходят «свинка — золотая щетинка, утка — золотые перышки, золоторогий олень и золотогривый конь»¹¹. В сказках «золото фигурирует так часто, так ярко, в таких разнообразных формах, что можно с полным правом назвать это тридесатое царство золотым царством»¹², — указывал В.Я. Пропп.

В мифологическом ракурсе золотой цвет соотносится с солнечным светом, постулируется связь «иногo царства, небывалого государства» с небесной сферой. Жар-птица — небожительница. Ослепительное сияние, исходящее от каждого ее пера, наполняет жизнь человека ярким светом, прогоняет тьму, всегда сопряженную в народном представлении с нечистой силой. Золотое светоносное оперение небесной обитательницы «золотого царства» в христианском контексте может быть соотнесено с евангельским откровением о «золотом граде» Небесном Иерусалиме, уготованном для праведных, в котором *«отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»* (Откровение. 21: 4). Символично, что *«ночи там не будет»*; *«спасенные народы будут ходить во свете Его»* (Откровение. 21: 24, 25).

Так фольклорный образ представлен в более многообразном переплетении с нефольклорным материалом, допускает возможности лирико-смыслового «сцепления» с христианским контекстом. Жар-птица символизирует божественный свет, вознесение к небу. «Жар» не только золотое сияние и свечение, но и жар неостывшего сердца — этого центра в православной антропологии, куда сведены все помыслы и чувства человека, устремленного к чуду, к Богу. Неслучайно поэтому в «Заячьем ремизе» настойчиво проявляется мечта о жар-птице как о чем-то недостижимо прекрасном. И если в сказке этот образ — плод народной фантазии и вымысла, то в повести Лескова он связан с глубокой верой героя. Сама возможность чуда сомнению не подвергается. Фольклорные образы переосмыслены и христиански актуализированы писателем.

Существуют инварианты русской сказки о поисках жар-птицы. В лесковской повести представлен новый оригинальный вариант. Герой стремится обрести жар-птицу, пытаясь высидеть на болоте цаплины яйца. Каким бы безумным ни показалось, на первый взгляд, это действие, все же оно имеет под собой реальную почву — фольклорно-этнографическую основу. В. И. Даль упоминал о народном обычае раздавать «самосидные яйца»: «Самосидные яйца раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них цыплят»¹³.

Лесков представляет собственную модификацию этнографического источника. В числе первых, кто высидивает цаплины яйца, учительница Юлия Семёновна: это и женское ее призвание — дать жизнь новому существу, и убежденность в необходимости зарождения совершенных форм жизни. Прекрасная жар-птица должна явиться как духовное и эстетическое откровение «золотого Небесного града», стать посредницей между землей и небом, совместить разные пространственно-временные пласты реального и идеального миров.

Юлия Семёновна и Оноприй Перегуд не одиноки: «там нас много знакомых, — сообщает герой, — и все стараются вывести жар-птицы, только пока еще не выходят» (IX, 588). «Не выходят» потому, что герои в своем «мудром безумии» упускают из виду важнейшее, недальновидно полагая, что из смрадного темного болота — то есть мира грешного, населенного людьми животного плана, духовно неразвитыми телесными «болванами» — сможет родиться иная реальность — жар-птица — знак райского сада, золотой чудо-страны, светоносного Небесного града. Этого произойти не может ввиду того, что желающие обрести жар-птицу не Творцы и даже не праведники. Они одержимы гордыней — «матерью всех грехов» в православной аскетике. Слово 23 «Лестницы» преподобного Иоанна Лествичника направлено против «безумной гордости»: «Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина

немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы»¹⁴.

От той же гордыни — стремление высидеть жар-птицу из яиц цапли. Тем более — что эта птица в специальном зоологическом труде «Жизнь животных по А. Э. Брему» характеризуется как «злая и жадная»¹⁵, памятливая на обиду; яйца ее только и можно отыскать на болоте.

Истина открывается Перегуду: жар-птицы не появляются «потому, что в нас много гордости» (IX, 588). Духовное прозрение ведет героя далее — к евангельской правде о том, что из несовершенного, греховного не может зародиться нечто совершенное. Люди пока бесконечно далеки от обожения, от заповеди Христовой: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5: 48). Но по гордыне своей многие мнят себя будущими творцами чудесных «жар-птиц». Однако «высидеть», духовно переродить «цаплины яйца» в «жар-птиц» одному человеку без Божьей помощи не под силу.

В повести несколько раз цитируется древнеримский поэт Овидий, запрещавший людям «"пожирать своих кормильцев", а люди не слышат и не видят» (IX, 590). В обществе все «пожирают» друг друга, также и «цаплиным яйцом», в котором уже материализовано начало жизни, человек хочет просто воспользоваться для пропитания своего «телесного болвана», а не «высиживать» нечто духовно высшее: «Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть» (IX, 589).

Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» (IX, 589). Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я хожу по коврику, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей!» (IX, 589).

Здесь звучит прямое обращение к Богу — *молитва за всех*, характерная для многих художественных творений Лескова («Запечатленный Ангел», «Очарованный странник», «На краю света» и др.). Писатель-христианин считает, что все достойны Божьей милости и жалости: одни страдают от сознания своей греховности; другие тоже по-своему страдают, потому что не ведают о собственном несовершенстве.

Приобщившись к этой истине, Перегуд «победил смерть» духовно. «*Посему мы не унываем, — говорит апостол Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется*» (2-е Коринф. 4: 16). Этот евангельский текст проливает свет на «загадку» прощальной повести Лескова.

Картина Апокалипсиса: «И взял Ангел кадьницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение» (Откровение. 8: 5) — развернута в эпилоге «Заячьего ремиза» в сцене грозовой «воробьиной ночи».

Согласно народным поверьям, «воробьиная ночь» с сильной грозой и зарницами — время разгула нечистой силы. Это природное явление осмыслялось в мифологическом сознании также и как время, когда удары грома и блеск молнии уничтожают нечистую силу¹⁶. Под пером Лескова эта картина выливается в христианско-философское обобщение, обретает поистине универсальный, космический масштаб «небесной битвы» между добром и злом.

Громаднейшие литеры «Глаголь» и «Добро», вырезанные Перегудом, осветились «страшным великолепием» грозы и отразились повсюду — «овамо и семо». Две эти отдельно

начертанные буквы сливаются в повелительный призыв: «Глаголь добро», то есть «Возвещай добро». Тем самым одновременно выражено требование неустанной борьбы со злом.

Так в последнем произведении «мастера» метафорически исполняется мечта самого Лескова — писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой: настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на весь мир <...> Он все напечатает прямо по небу» (IX, 590), на котором мечутся птицы в «воробынью ночь».

Образы птиц связаны не только с представлением о небесной сфере и далеком пространстве. Одновременно в народном сознании они символизируют души умерших. Атрибутика смерти постепенно нарастает к финалу повествования. Но без смерти не бывает и воскресения.

Оноприй Перегуд, «в мудром безумии которого есть и поучение, и завещание, и пророчество о временах грядущих»¹⁷, постигнув истину, уже не может оставаться на грешной земле, он покидает земную юдоль — тут же совершает переход «в шатры Симовы», в «иное царство» — «Небесный град», царство Истины. Он переходит в иное качество, иное — духовное — измерение.

В прощальной своей повести Лесков на новом духовном и эстетическом уровне подвел итоги темам и проблемам, которые он разрабатывал на протяжении всего писательского пути. Духовное прозрение героя «Заячьего ремиза» знаменует и обостренную духовную зоркость самого автора в финале его творчества. Так, Лесков переосмысливает некоторые свои религиозно-нравственные представления: в частности, убеждение в том, что дело «честного писателя — служить тому, чтобы Царство Божие настало на земле как можно скорее и все совершеннее»¹⁸. Царство Божие невозможно на земле, ибо, как сказано в Евангелии: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18: 36).

Важная цель позднего творчества Лескова — подготовка человека к выходу в другую жизнь. «Все чувствую, как будто ухожу...» — говорил писатель в одном из поздних писем¹⁹. Происходит «раскрытие сердца, просветление духа, отвержение разума»²⁰. Со смертью героя не заканчивается жизнь, он «растворен уже в других и в мире, а смерть-успение совершает свой вечный виток как смерть перед воскресением, уход перед возвращением, отчетливо смыкая конец с назревающим началом»²¹, — так поясняется семантика мотива «ухода». Поистине: *«Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное»* (Екклесиаст. 3: 1, 2).

Так завершается «томление духа» и происходит его освобождение. Свершается паломничество человека к своему священному предназначению: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу, благодаявшему мне» (VIII, 91), — Псалтырь по усопшему в лесковском «*рассказе к стати*» «Интересные мужчины» (1885) мог бы увенчать последнее земное творение писателя — итог его религиозно-нравственных раздумий протяженностью в жизнь.

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле, как говорил Лесков, «кожаную ризу», писатель размышлял о «*высокой правде*» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем»²². Ностальгия по «миру духовному» внушала Лескову веру в бессмертие души. Он приводил евангельский эпизод воскрешения Христом дочери Иаира: когда шли к дому, встречный проговорил, что она уже умерла, но «Иисус, услышав это, сказал ему: *«Не бойся, только веруй, и спасена будет»*» (Лк. 8: 50).

Примечания:

1. Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: Гослитиздат, 1956–1958. — Т. XI. — С. 599–600.
Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
2. Цит. по: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3-х т. — М.: Худож. лит., 1988. Т. 3. — С. 646.
3. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992. — С. 493.
4. Философов Д. Пшеничный хлеб//Нива. — 1917. — № № 41–43. — 28 октября.
5. Измайлов А. <Отзыв о повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз»>//Петроградский листок. — 1917. — 8 октября.
6. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 192.
7. Там же. — С. 191.
8. Ильин В. И. Стилизация и стиль. Н. С. Лесков//Эссе о русской культуре. — СПб.: Акрополь, 1997. — С. 147.
9. Русские писатели о литературном труде: В 4-х т. — Л., 1955. — Т. 3. — С. 210–211.
10. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 180.
11. См.: Афанасьев А. Н. Русские народные сказки. — М., 1938. — Т. 2. — С. 59–64.
12. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л.: ЛГУ, 1946. — С. 264.
13. Цит. по: Русская литература и фольклор (первая половина XIX века). — Л.: Наука, 1976. — С. 350–351.
14. Иоанн Лествичник. Лествица. — СПб.: Фонд «Благовест», 1996. — С. 156.
15. Цит. по: Аникин В. П. Русская народная сказка. — М.: Просвещение, 1977. — С. 74.
16. См.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 115.
17. Афонин Л. Н. Слово о Лескове//Творчество Н. С. Лескова: Науч. труды. — Т. 76 (169). — Курск: КГПИ, 1977. — С. 7.
18. Лесков Н. С. <Заметка о литературе>. Публикация А. Романенко//В мире Лескова. — М.: Сов. писатель, 1983. — С. 365.
19. Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1984. — Т. 2. — С. 468.
20. Там же.
21. Макарова Е. А. Старообрядческая культура в эстетическом сознании Н. С. Лескова: Автореф. ... канд. филол. наук. — Томск, 1992. — С. 20.
22. Цит. по: Лесков А. Н. — Указ. соч. — Т. 2. — С. 467.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

ПАРОДИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ И ДР. ПОЭТОВ

УРАВНЕНИЕ С ТРЕМЯ ИЗВЕСТНЫМИ

*Театр одного актера
страшно одинок
Театр одной актрисы
ужасающе печален
А театр одного режиссера
уж полон
ложки блещут...*

Михаил Кузьмин

Театр одного поэта
страшно одинок
Театр одной поэтессы
ужасающе печален
А театр одного критика
берет в полон
и ножи блещут...

ПАРОДИИ

ПЕНОПЛАСТОВОЕ

*...По направлению к часовне
Иду, крошась, как пенопласт.
Евгений Степанов*

Поэтов в мире нету лишних,
Хотя их очень много штук.
Один, к примеру, как булыжник,
Другой — смолистый каучук.
А я — совсем другая каста,
Один, как в море островок,
И создан весь из пенопласта —
Литературы поплавок...

ПРОШАЙ, БЕЙДЖИН

*Москва — Пекин
летим-летим
Бейджин Бейджин
бежим-бежим
Сергей Бирюков*

Пекин-Москва,
едва-едва
прощайте, Си,
мы на Руси
к чему такси
бежим в метро
там все светло
а дома ждут
четыре дня
меня-меня
но завершилась
беготня
налью в стакан
холодный джин
привет, Москва,
прощай, Бейджин

Леонид Подольский, «Финансист»
М.: «Вест-Консалтинг», 2023, 2024

«Финансист»? Знаем, конечно, отличный роман! Главный герой решает уехать в Чикаго, чтобы там осуществить несбывшуюся мечту — стать финансовым воротилой... Стоп-стоп, это из другого — одноименного романа, в котором действие происходит за океаном. У нас теперь свой «Финансист» имеется, и новый герой в суровых обстоятельствах. Автор этого эпического произведения — Леонид Подольский, действие происходит в новейшей российской действительности, речь идет о «смутном времени» — развале СССР и зарождении русского капитализма.

Авторская провокация удалась: так и хочется узнать, что за история развернется в России в 1992–1994 годах. Кстати говоря, полномасштабного произведения по мотивам развития постсоветской России до сих пор не было создано. А пора бы: поколение тридцатилетних знает об этих событиях только со слов своих родителей, дети «нулевых» часто понятия не имеют о том, почему противостояние у Белого дома в Москве закончилось трагедией. ...Слом эпох — время, интересное для литератора, но очень трудное для обывателя. Не зря древнекитайское проклятье звучит так: «Чтоб вам жить в эпоху перемен»...

Вспомнить придется многое. Двухтомный роман не получится «проглотить» за выходные. Эта книга написана обстоятельно. Автор подробно показывает приметы времени, и каждый, у кого есть капелька воображения, может себе представить размах притязаний стремительно формирующейся новой элиты: «Закончились курсы торжественным вечером в Доме туриста на Юго-Западе. Вручали дипломы финансовых брокеров, пили шампанское, водку и коньяк, заедая красной и черной икрой, устрицами и хамоном, импортными колбасами, сырами, бужениной, стол ломился от горячих и холодных закусок, от клубники, винограда и ананасов — большую часть продуктов доставили из валютного магазина, в обычных по-прежнему было пусто. То было, как громогласно провозгласил президент "Марки" Павел Волоцкий, торжество новоиспеченной буржуазии, вернувшейся и победившей, на сей раз навсегда».

Молодое государство вступило в эпоху ничем не сдерживаемого, дикого капитализма. Сопровождалось это изрядным скептицизмом: куда идем-то, что делать будем? Так, Игорь, главный герой романа, смотрит телевизор с недоверием, но его товарищ, куда более дальновидный, сурово изрекает: «Приватизацию не отменяют. Это и х приватизация. Красных директоров. Покричат, поторгуются и сойдутся в цене. Советская власть кончилась». Статичная картина мира главного героя начинает рушиться.

Трансформации подвергаются как события, так и тот, кто о них повествует. Так, описывая механизм известной финансовой пирамиды, автор вкладывает в уста Игоря неподдельное сомнение в успехе этого дела: «Это что же, государственная пирамида? Если один выпуск гасить за счет другого, они же скоро перестанут приносить прибыль. Увеличивать

размеры траншей до бесконечности невозможно. А что потом? Все обрушится? — он еще не знал слово "дефолт". Однако позже Леонид Подольский упоминает, что Игорь не просто выкинул идею быстрого обогащения из головы, а «скорее, на время забыл» о ней. Сомневался в успехе, но присматривался: а вдруг получится? Что ж, вся страна этим «боле-ла», как вспомнишь, так страшно становится от масштабов приватизации...

Дальше — больше. Намечается и осуществляется афера в медицинском кооперативе, где работает главный герой: «Вот тогда и заработала эта схема, которой Игорь очень гордился, "вечный двигатель с высокой оптимизацией": купив партию метандростенолона на "Акрихине", Игорь продавал ее за доллары или марки, большая часть валюты оставалась у него, другую же часть он обменивал у коммерсантов на безналичные рубли, за что те доплачивали двадцать пять процентов, и всю эту сумму перечисляли кооперативу. Безналичные рубли снова шли на "Акрихин", и Игорь получал новую партию. По бумагам, Полтавский будто бы продавал коммерсантам стройматериалы, а закупал их у физических лиц». Схема понятная, прибыль гарантированная. Что из этого выйдет — сами понимаете...

Так начинали сколачивать капиталы, и в предлагаемых обстоятельствах это было едва ли не единственно верное решение, чтобы не умереть с голоду... Развивая сюжетную линию, автор попутно знакомит нас с исторической эпохой, что называется, «с полным погружением». Произведение, созданное на стыке романа и исторической хроники, знакомит читателя даже с такими неприглядными маркерами времени, как названия екатеринбургских преступных группировок, державших в страхе весь город. И если слово «разборка» молодежь еще понимает, то для расшифровки названий первых коммерческих банков новой России, писателю приходится по ходу произведения давать обширные сноски. Удивительно, как удается автору, углубляясь в исторический экскурс, продолжать повествование: подробности передела государственной собственности частными лицами, фамилии, имена, экономические термины — все это затягивает читателя, а Игорь меж тем знакомится все с новыми и новыми предпринимателями... Перед нами медленно разворачивается масштабное историческое полотно, со сложным сюжетом и множеством событий. Роман-эпопея Леонида Подольского — это попытка исчерпывающего взгляда на историю новой России: ничего не забыть, ничего не упустить, показать жизнь такой, какая она есть. Яркое, живое изображение социальных катаклизмов заставляет читателя поежиться: мама дорогая, в какое время довелось жить. И главному герою несладко: «Но ведь рэкетиры никуда не денутся. И он же отлично знает, что <...> нельзя доверять. Вообще никому нельзя».

Изображаемая действительность не вызывает у писателя радости. Размышления главного героя подчас тягостны. И читать их вдвойне тяжелее, когда знаешь: точно такие же невеселые думы одолевали в свое время родителей — как прожить день, если цены, отпущенные в «свободное плавание», растут час от часу? Отпуск цен являлся первым пунктом программы неотложных экономических реформ Бориса Ельцина, а дальше — массовые сокращения, безработица, бедность... Что же в итоге? Главного героя основательно потрепала жизнь: «А он сам? Он тоже сильно изменился и стал хуже. Стал более опытным и более мудрым, но он больше не любил людей. Он устал и разочаровался. Когда-то он прочитал, что бывшие идеалисты с годами становятся самыми яркими пессимистами, и что розовые очки такие люди со временем меняют на черные. Так вот, именно это с ним и происходило, и он не знал — надолго или навсегда? Правда, это не только с ним происходило: выживание никого не делает лучше». К сожалению, это правда. Сохранить себя как личность, не отказываться от высоких устремлений, продолжать любить жизнь, несмотря ни на что — это

значит жить, а не выживать. Но такое под силу только человеку, имеющему твердую «систему координат» — мировоззрение, устойчивую жизненную позицию, а также смысл жизни — «стержневое» свойство личности, которую не сломают социально-экономические потрясения. У Игоря же, как сейчас говорит молодежь, «все сложно»: «Игорь больше не обольщался: он давно понял, что капитализм — не самая добрая система, а в постсоветской России — особенно. Он знал, что волчье время продлится еще долго. Но выбора не оставалось: нужно работать, нужно начинать все сначала, идти на новый круг. Он мог надеяться только на себя». И это правильно, это единственно верная установка выжившего, которую Леонид Подольский транслирует нам через своего персонажа. Нет очарований — нет и разочарований. Не мы такие, жизнь такая. Эту книгу наверняка оценят как «дети девяностых», так и все те, кому небезразлична судьба России, кто согласен с высказыванием Джека Таннера: «Ничто не могло бы больше дискредитировать капитализм, чем решение русских его испробовать».

Ольга ЕФИМОВА

Семейная мемуаристика состоит не только из авторского потока памяти, из которой извлекаются отдельные яркие эпизоды. Не стала она и чисто лирической прозой, поскольку основана на невыдуманных событиях. Принадлежность к роду, семье — одна из самых важных ценностей русского человека. Семейная хроника, будучи разновидностью мемуарного жанра, фиксирует вехи человеческой жизни: рождение, пребывание в родительском доме, взросление, влюбленность, вступление в брак, рождение детей... И так далее, до финальной точки. Событийными эти этапы становятся потому, что символизируют неизменную линейность бытия, последовательность, заповеданную нам предками. Соответственно, мемуары строятся вокруг «узловых» моментов жизни, а промежутков между ними заполнен событиями не столь значимыми.

И здесь проявляется парадокс человеческой памяти, которая устроена интересно: одни события как будто «отпечатываются» на подкорке и остаются с нами на всю жизнь, а другие улечиваются из памяти чуть ли не на следующий день. Поэтому требуется приложить немало усилий, чтобы из разрозненных воспоминаний составить целостную картину прошлого, особенно если речь идет об истории рода.

Воспоминания Евгения Курдина «Сугубо личное» — пример как раз такой книги. Отличная память и стройность мышления, свойственные дипломатическому работнику, делают эту книгу логичной, а теплое отношение к родственникам передается читателю сразу же. Непросто складывалось его детство. Время было трудное, не до учебы. А уж читать... Это занятие требует свободного времени и умственных усилий. До книг ли, когда нужно сеять и пахать?.. Но некоторые, как дед автора, находили и время, и силы на самообразование. И приучали к чтению детей и внуков. Так, например, автор рассказывает о дедушке: «Кстати, у него была целая библиотека, дед очень много читал, можно сказать, запоем. Про него в Юрьево говорили то ли в шутку, то ли всерьез, но при этом величали всегда уважительно: "Тимофей Степанович или дед Тимофей у нас книгочей". У него, в частности, были полные комплекты журнала "Нива" за несколько лет, еще какие-то книги, сейчас уже не упомяну».

Как жили люди в то время? Интересно и увлеченно, при минимуме доступных развлечений.

Так, автор описывает, как исследовал библиотеку деда, с восторгом и почтением к книгам. Это была отдушина, доступная немногим. Время, проведенное наедине с книгами, автор запомнил на всю жизнь: «Я брал их и уходил с ними в амбар. По идее амбар — хозяйственная постройка, тем не менее он был сложен из известняка, очень прочный, под железной крышей, большущий, или мне так тогда казалось. Там было сухо, чисто и тепло. Маленьким я их листал, разглядывал картинки, а уже позже находил в них кое-что для себя действительно интересное. Причем какие-то вещи из этих дедовых книг в открытом доступе не водились». А ведь с точки зрения психологии чтение — одно из важнейших занятий для становления личности. Описание фигуры деда строится глазами внука на основе слов родственников и собственных детских воспоминаний, и этот герой, как в сказке, далеко не прост.

Стилистика повествования Евгения Курдина спокойная и плавная, интонация близка к тону душевного разговора. Как будто сидишь и слушаешь, что рассказывает старший родственник: «Когда за столом собирались все шесть внуков, бабушка Аня наливала шесть

кружок парного молока, в них уже лежала надавленная с сахаром черника или малина, и, сложив на груди руки крест на крест, двигала кружки от себя обеими руками одновременно в сторону выводка: двое младших могли удариться в рев, да и старшие бдительности не теряли. У старших, моих двоюродного брата и трех сестер, разница в возрасте составляла не больше двух лет, в поселке образовалась своя компания. Во что только они ни играли: в лапту, в прятки, в штандар, ну и, конечно, в казаки-разбойники!». Семьи тогда были большие, и в авторское воспоминание о прошлом невольно вкрадывается легкая тоска по такому семейному укладу. И — уточнение: «Почему-то только в войну не играли!». Может быть, потому что понимали подспудно — слишком уж страшна эта игра...

С высоты прожитых лет многое оценивается по-другому: в особых отношениях с памятью человека находится история народа, а если говорить шире — история эпохи. Так, маркером эпохи выступает автомобиль «Победа» — самый «крутой», как сейчас бы сказали: «Когда "Победа" спускалась вниз по Рождественскому бульвару и выезжала на Трубную площадь, машин тогда было немного, раз, два и обчелся, охватывало чувство, если не свободы, то, по меньшей мере, открывающегося перед глазами простора». Обратим внимание: машин тогда было немного, и были они доступны определенным слоям населения. Такая выразительная деталь очень много говорит о минувшем времени.

Эта книга берет за душу простотой изложения, искренностью, которой может похвастаться не каждый взрослый человек. Противопоставляется дому или соотносится с ним любое событие, так или иначе волнующее автора. Так, и заграница может стать уютной и по-своему родной, если там произошло судьбоносное событие: «Где-то неподалеку на небольшой улочке в ювелирном магазине мы купили обручальные кольца, причем хозяин уверял нас, что делает для нас сумасшедшую скидку, чуть ли не 20 процентов. Вот уж точно, покупка эта оказалась самой удачной за все время нашей совместной жизни — вот уже больше 25 лет носим, не снимая!». Многие ли могут заявить сейчас, что они счастливы? А с такой гордостью за совместно прожитые годы?..

Воспоминания несут в себе отпечаток нашей индивидуальности, это неотъемлемая часть нас самих. Они остаются в памяти благодаря силе эмоций, сопровождающих те или иные события, но только от самого человека зависит, придавать ли этим «приветам из прошлого» какую-либо значимость. Евгений Курдин уверен: без прошлого нет будущего, а хорошие воспоминания нужно беречь и лелеять. К ним возвращаешься, когда сбиваются жизненные ориентиры. Они помогают пережить трудные времена. Память об истории своего рода и бережное отношение к своей семье — залог того, что и дети вырастут не перекаати-полем, а взрослыми, с почтением относящимся к миру и людям. А это настоящее счастье.

Надежда ДРОЗД

Современная литературная сказка перенимает «эстафетную палочку» у сказки фольклорной, древней. При этом сказка авторская может позволить себе порассуждать и на актуальные темы: и объяснить, что такое «реликтовое дерево», и рассказать, как делают ванильные сухарики. Именно отход от ориентации на чисто народные традиции делает авторскую сказку столь интересной. Неизменно одно: этот жанр, как и его предшественник, необходим детям. Реализуя воспитательную функцию в доступной форме, литературная сказка свободна в совмещении традиционных фольклорных элементов (образ печки) и современных (стулья, запах ванили), и получается это настолько же хорошо, насколько автор талантливо переосмысливает отечественное и мировое народное творчество.

Книга сказок Надежды Бабаевой полна волшебства. Чудеса и волшебство раскрывают характеры персонажей и помогают создать крепкий сюжет. Какая же сказка без чудес?.. И, разумеется, без морали?

Например, сказка «Гвоздь». Автор выбрала главным героем истории не канцелярскую кнопку или, скажем, скрепку, а то маленькое, что «намертво» соединяет доски Стола и Стула. И речь идет не о комфорте, а о выживании, о единстве, о сохранении частей целого. Испокон веков гвоздь символизирует скрепление, единение. В отличие от хвастливой крупной мебели, этот малютка лишен тщеславия, хотя прекрасно осознает свою важность: «Да, да, большой Стол, чуть меньше Стул и огромнейшие Стены! Да если я сейчас просто соберу всех своих братьев, и мы отправимся просто в коробочку, то Стол развалится, Стул рассыплется, а вы, Стены, просто не сможете стоять! У у у... Но я не хочу быть важным, я не хочу быть самым главным, я хочу быть... быть надежным, и поэтому остаюсь».

А сколько теплой мудрости в «Сказке про Колосок»! Она учит беречь даже кусочки сухого хлебушка, ибо, как гласит народная мудрость: «Хлеб — всему голова». Все усилия по возделыванию зерна, по выпечке и сохранению хлеба находят отражение в этой маленькой сказке: «Так, неожиданно для себя, мальчик назвал этот хлеб — сухарик. Каждый день он смотрел на сухарики и радовался, потому что теперь действительно сухарики могут храниться долго. Даже когда идет дождь, сухарики становятся только мягче, но они не пропадают, ведь они могут подсыхать снова, и теперь хранятся долго — целый год!». Вся эта картина — возвращение колосьев и выпечка хлеба — по сути своей отражает сбережение важнейшего жизненного достояния русского народа. Хлебный колос — один из символов России. Так что, читая о сострадании одного персонажа — мальчика Егорки — к одушевленным, подчеркиваю — живым! — колосьям, ребенок учится не только рачительному ведению хозяйства, но и гораздо большему — сопереживанию близким и любви к Отечеству.

Сказка — самый популярный вид литературы для детей. Надежда Бабаева вплетает в свои истории загадки и короткие детские стихи, чтобы ребенок, отгадав загадку по окончании повествования, лучше усвоил прочитанное. Автор — кандидат психологических наук, она прекрасно знает, что в процессе слушания и обсуждения сказки у маленького читателя развиваются необходимые для комфортного существования в социуме фантазия и творческое мышление. Заложенный в сказке свод моральных норм и правил легко передается ребенку. И если некоторые из представленных в книге историй близки к народным, то есть и совершенно чудесные вещи, где героями становятся как типично русская Ива, так и прекрасные, но не очень свойственные исконно русской природе розы (сразу вспоминается Экзюпери с его розовым садом): «Ива не делала этого раньше,

но в этот раз она встряхнула ветвями и осыпала покрывало своими листьями. Теперь жаркое солнце перестало быть таким обжигающим, и портной мог сколько угодно любоваться цветами, вдыхая их аромат. А корни цветов он украсил лепестками, выдумав новый запах — тот, что всех их скреплял и давал свое место каждому». Однако основная идея остается прежней: счастье — это мир и согласие, умение вложить в отношения душу. Вместе мы — сила. А социальная изоляция — путь в никуда.

Индивидуальное разнообразие авторских сказок касается и философских категорий. Например, в сказке «Свет и тень» понятия «свет» и «тьма» ассоциируются не только глобально — с понятиями о добре и зле, но и узконаправленно: свет — это движение, жизнь, служение, опять-таки — единство с миром и людьми. Тьма, в свою очередь — остановка движения и заикленность на себе: «— Нет уж,— подумало Солнце,— может быть, это и легче — никуда не двигаться, но я как-то не хочу оставлять всех и все без света. Лучше я буду все время перемещаться и освещать все, чем стоять на месте и не светить никому!». Метафоричное сопоставление света и тьмы у Надежды Бабаевой выливается в торжество начала творческого, активного, направленного на нужды и потребности окружающих. А еще это история о самоопределении. Солнце должно светить. Если оно отказывается от своего предназначения, то кем становится?.. Так, через сказку довольно легко объяснить ребенку понятия «добра» и «зла», при условии, что они четко определены.

Или история о том, что свое, а что чужое. Из-за кусочка сыра между персонажами разрастается очень содержательная беседа, которая, кстати, не переходит в конфликт. Зато вопросы возникают весьма непростые. Например: «Что считать в материальном мире своим?» И — еще более серьезный, вытекающий из первого: «Как ты понимаешь, что данный предмет — твой?». Ответы даются тут же. Как верно говорит Белка: «Если ты его не искал, значит, ты его и не терял». Это правило, если подумать, применимо не только к пище и прочим материальным предметам...

Книга Надежды Бабаевой отличается высокой нравственной позицией автора. Она ведь могла бы сочинять «чернуху» про ведьм и мертвецов, но все ее сказки полны доброты и света. Еще бы, ведь традиционные элементы сказочной культуры «работают» и в наше время. А в сочетании с богатой авторской фантазией и с ее высокими морально-нравственными ориентирами получают полноценные терапевтические произведения. Эти истории с удивительными событиями, направленные на детей, будут весьма полезны и взрослым.

Вера КИУЛИНА

Амир Сабиров, «Рай осиновый»
СПб.: Лира, 2024

Биение сердца задает ритм тексту. У пишущих солдат именно так. Читаешь, — и понимаешь, какие строки пришли во время маршброска, когда дыхание учащается, а сердце колотится с такой скоростью, что барабанная дробь кажется детским лепетом, а какие во время привала, или в расположении, после сытного ужина. Стихи у солдат получаются особенные. С внутренним нервом, без истеричных выхлопов, коими грешат поэты из мирняка.

Слова произвольны, как сваленные в ящик патроны. Берешь во время замеса, чтобы заполнить опустевший магазин. Особо не разглядывая. Нет времени.

Сердце задает ритм. Слова кладутся в строки, где рифма, как тяжелый выдох, или глубокий вдох, и вот они — стихи, те самые, которые сливаются в одно целое солдата с эпохой и затягивают в это целое читателя, умеющего принимать чужую боль, родниться с нею, спасаясь от обездушивания и обезличивания, выныривая из пустоты жизни на солнечный свет, чтобы наполниться воздухом.

*Из «шахты» рука заберет магазин,
огонь автомата сквозь дебри осин,*

*дрожат «Солнцебеки», межуя посадку,
и гильзы танцуют у бревен вприсядку,*

*рыхлят минометы, как плуг, огород,
за группой отряд, за отрядом мой взвод.*

Книга «Осиновый рай» по признанию автора — Амира Сабирова — написана в блиндажах, в перерывах «между». Оттого речь густая, размеренная. Дыхание ровное. При всем при этом сохраняется чувство близости *неминуемого*.

Спаси господь от завтрашнего дня...

Стихи, будто отодвигают его, держат дистанцию, дают время на мысли, слова, поступки. Патроны подбираются по другому принципу. Солдат пристально разглядывает каждый. Протирает. Заботливо вставляет в магазин. Есть время на умиротворенное созерцание. Небо становится точкой притяжения. Оно здесь и сейчас, но оно такое же, как вчера, и пока еще нет шансов на то, что под утро изменится.

*Мелко утро, горько утро,
разливается в окне,
выкорчеванная школа
на безлюдной пятерне.*

Земля и небо — две основных точки авторского внимания. Если небо у Амира Сабирова «березовое», то земля «осиновая». Сабировский рай на земле не противопоставляется

есенинскому («*Страна березового ситца...*»), но дополняет его. Делает взаимосвязанными, но далекими друг от друга. Так военные не мыслят себя без гражданских, но стараются отделять, оберегая.

К земле можно припасть. Она пропитана бушлатами. Покрыта листвою. Окаменевшая. Высушенная или сырая. Ледяная. Горбистая и алмазная (стало быть, многогранная, разная). Небо: затянутое солнечной копотью, распоротое, отражающееся в протоптанных лужах. Оно здесь, под ногами, там же, где и земля, и все же где-то далеко.

Над лесом звезды фосфорные
растают вдалеке.

Инструментарий почвенников (от Аполлона Григорьева до Станислава Куняева) — образный ряд, лексика, построение стиха, сюжет, либо намеренное его отсутствие — используется для выстраивания своего мира, фундамент которого вроде бы состоит из тяжелого сплава разума и материи/души и тела, и в тоже время находится между ними. С этой стороны поэтика Сабирова близка к раннему Заболоцкому. Трагедия обретает форму нелепицы за счет размытых или вычурных эпитетов: *перевернутый блиндаж* — перевернутая вверх дном квартира, беспорядок в доме — в значении разбитый, разрушенный, или, допустим, из вычурного: «*листва убогим утром принакрыла на пойме мирового передела потертый корень*». Сравните. У Заболоцкого: «*тут природа вся валялась в страшном диком беспорядке*». Нечеткий, размытый образ. Слово «беспорядок» в значении «неухоженная». Там же *многоногий ком, куча огня* и т. д. Здесь даже не еле уловимая, а вполне ощутимая схожесть. Или, из вычурного, опять Заболоцкий: *Как изукрашенные стяги, // лопаты ходят тяжело, // и теста ровные корчаги // плывут в квадратное жерло...* Дальше. Как последний штрих к вышесказанному. У Сабирова небо — в луже, у Заболоцкого в бокале — окно.

К поэтике Сабирова подходит фраза, которой клеймили Заболоцкого: «Неустоявшийся слог русской поэзии XVIII века». Вспоминается Ирина Роднянская, которая писала, что недостроенное здание можно принять за разрушенное (или наоборот). Но здесь иной случай. Оба автора — ранний Заболоцкий и Сабиров настоящий — не разрушают, но и не строят с точки зрения устоявшейся традиции. Скорее, надстраивают на месте разрушений что-то другое — свое — из того материала, которым владеют, который находится под рукой (целое из составных частей).

Там, где мы воевали
вскроются залежи нефтяные,
вновь откроются шахты угольные;
по костям соберут новострой...

Война теряет свою силу, власть над солдатом и воспринимается читателем, в данном случае мной, человеком, находящимся в настоящий момент вдалеке от линии боевого сопротивления, как нечто фантазмагоричное, оторванное от реальности, неестественное. Она перестает существовать здесь и сейчас. Переходит в иное измерение. Отдаляется, оттого становится привлекательной, как любой запретный плод, как тот локоток, который близок, да не укусишь. Не можешь прикоснуться к ней в полной мере, но чувствуешь ее всем своим существованием.

*По пустой посадке
эхом отдаленным —
в слякоти и крови
живите, пацаны,
только подскажите
при каком затоне
города чужого
похоронены.*

Интересно, что и книга заведомо или по каким-то неведомым причинам составленна по принципу столбцов — склеенных свитков 16–17 веков, когда документы не сшивали, а приклеивали друг к другу, скручивали и хранили столбиком. Составитель и автор предисловия Захар Прилепин. «Столбцы» — первая книга стихотворений Николая Заболоцкого. Книга Амира Сабирова «Осиновый рай» составлена похожим образом. Каждый последующий текст будто приклеен к предыдущему. Может иметь иную интонацию, информацию, порой противоречащую уже имеющейся, но относящейся к одному и тому же, как одно целое, одна единица хранения — столбец.

*Блиндаж, словно Божия милость,
скажи, брат, мне это приснилось,
и я уже больше не там.*

*Где блиндаж мой,
где жил,
где разрывы;
режет звон по ушам.
мы мертвы, мы неживы,
мы разорваны напополам.*

*Каждый выход, как будто последний,
и блиндаж мне становится домом,*

и свистит, когда не пригибаюсь.

В чужой блиндаж нырнем...

Здесь я вступаю в полемику с автором предисловия. Захар Прилепин роднит Сабирова с Гавриилом Державиным через Осипа Мандельштама. Но спор может касаться только приемов, инструментария, внешних признаков.

У Сабирова за спиной хоть и неоконченный, а только начатый, но все-таки филологический ВУЗ. Начитанность немалая. Она чувствуется с первых строк. Просто так, без любви к языку, к литературе на филологический не пойдешь, а если пойдешь, то вряд ли посту-

пишь. Но время такое. Любить мало. Надо еще и защитить. А кому-то и с оружием в руках. Потому выбор был невелик. Амир Сабилов, отслужив срочку, ушел добровольцем на фронт.

Не уехал бы — совесть замучила.

По внешним признакам, да, есть некоторая схожесть с Гавриилом Романовичем через Мандельштама, повторяю, как отмечает в предисловии Захар Прилепин: *«размашистость, когда слова берутся не по одному, а как бы пригоршней»*. И есть некоторая схожесть в приемах с ранним Заболоцким, как я говорил выше. Только все это внешние признаки.

Дмитрий АРТИС

«Зинзивер»
(Санкт-Петербургский литературно-художественный журнал)
Издательство «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 500 экз.
Сдано в набор 28.03.2024
Подписано в печать 10.04.2024